

Литературно-художественный журнал

Основан в 2001 году

Издается при поддержке
Союза писателей России



ИЗЯЩНАЯ СЛОВЕСНОСТЬ

Выходит ежеквартально

№1 (24) • 2014

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

- 3 **Виталий ДМИТРИЕВ.** Стихи
4 **Ефим БЕРШИН.** Стихи
7 **Владимир ПОРУДОМИНСКИЙ.** Анна Алексеевна.
Клочок биографии
20 **Нина САВУШКИНА.** Стихи
22 **Арсен МИРЗАЕВ.** Стихи
27 **Светлана МОСОВА.** Незнакомка. Этажерка. Тридцать четвертый сюжет. *Рассказы*
39 **Валентина ЛЕЛИНА.** Когда зацветут фиалки. *Стихи*
42 **Татьяна СЕМЕНОВА.** Стихи
45 **Екатерина ФЕДОРОВА.** Матушка. *Рассказ*
49 **Антон ПОГРЕБНЯК.** Стихи
53 **Катя ПИЦЫК.** Десять секунд. *Рассказ*
63 **Екатерина ПОЛЯНСКАЯ.** Стихи
68 **Марк ТРОИЦКИЙ.** Стихи

ГОСТИНАЯ «ИЗЯЩНОЙ СЛОВЕСНОСТИ»

- 73 **Елена ПЕРВУШИНА.** «Гений огнекрылый». *К 450-летию со дня рождения Шекспира*
79 **Александр БЕЛЫХ.** Из даурской тетради. *Стихи*
Из поэзии королевства Бохай. *Переложение с кит. А. Белых*
85 **Кира ВРУБЛЕВСКАЯ.** Стихи

ПРОЗА. ДЕБЮТ

- 91 **Майя ЛИХОВОДОВ.** Нелли. *Рассказ*
101 **Николай ЛЕЛЕКОВ.** Один зимний день из жизни Кольки-Фуражки. *Рассказ*

ПЕРЕВОДЫ

- 112 **Генрих ЛЕРШ.** «Прости меня, мама...» (пер. с нем. Е. Лукина)
115 **Эварист ПАРНИ.** Стихи (пер. с фр. В. Пинковского)
116 **Теодор де БАНВИЛЬ.** Стихи (пер. с фр. В. Пинковского)

ЭССЕИСТИКА. КРИТИКА

- 118 **Павел ТОЛСТОГУЗОВ.** Черногорский дневник
122 **Антон АНТИПОВ.** Образ лагерного мира в «колымских» циклах В. Т. Шаламова

Главный редактор –
Светлана Склейнис

Редакционная коллегия:
Александра Дашкевич (ответственный секретарь)
Виталий Дмитриев
Борис Орлов
Виталий Пинковский
Владимир Порудоминский
Татьяна Семенова (зам. главного редактора)
Александр Скоков

Рукописи не возвращаются и не рецензируются.
При перепечатке ссылка на журнал «Изящная словесность» обязательна.

© Журнал «Изящная словесность», 2014



Виталий
ДМИТРИЕВ

СТИХИ

* * *

Ефиму Бершину

Это теперь «Ракеты» да «Метеоры»
мчатся по глади залива, почти взлетая.
Раньше, я помню, были другие скорости –
до Петергофа ходили речные трамваи
от Летнего сада. – Целое путешествие.
Сколько ж мы плыли тогда?
Наверно, целую вечность.
Долгим всё это кажется по прошествии
Жизни, такой короткой и быстротечной.

Хлопья прохладной пены... Чайки в кильватере...
Как они ловко хватали мои подачки –
все эти булочки, плюшки, завернутые матерью.
Есть не хотелось. И вряд ли, что из-за качки.
Помнишь – Самсон, раздирающий пасть шведам?
Пётр. Ну конечно, Первый. Какой же иначе?
Нас приучили с детства к таким победам,
что до сих пор остаётся вера в удачу,
как и тогда – в классе шестом или пятом,
после полётов Гагарина и Титова...

Я бреду вдоль Невы, любуюсь державным закатом.
И ты знаешь – счастлив.
Честное слово.

• **Виталий Дмитриев** – петербургский поэт. Окончил факультет журналистики ЛГУ. Член Союза писателей Санкт-Петербурга. Автор трех стихотворных сборников. Лауреат премии им. А. А. Ахматовой (2007). Победитель литературного конкурса «Свобода слова» (Москва, 2013).

* * *

Маше Ватутиной

Бог в России живет не в хоромах
и не в храмах, где льется елей.
Бог живет на насупленных кронах
облетающих тополей.

Бог живет на дубах и осинах
и плетет за узором узор
на иконах пронзительно синих
чудотворных озер.

Дышат тайной древесные руны
на свистящем пространстве пустом,
где Дажьбог породнился с Перуном,
а Перун породнился с Христом.

Пахнет кровью таежная месса.
Рвется в небо январская стынь.
И молитва почти неуместна,
как и выбор святынь.

На развилке меж адом и раем,
где блуждают лишь ветры одни,
ты поймешь, что не мы выбираем.
И не нас выбирают они.

* * *

Елене Черниковой

Осенний обморок. Лысеющий ноябрь.
Осколки листьев – августа осколки.
Жизнь погружается, как Китеж в Светлояр,
на дно заиндевшего поселка.

Осенний обморок. Изнемогает дол.
И так пугает дальний грай вороний,
что так и хочется запрятаться в подол
добропорядочной Февроньи.

Осенний обморок. И медленно на нет
сошла луна сверкающей подковой.

• **Ефим Бершин** – поэт, прозаик, публицист. Окончил факультет журналистики МГУ. Член Союза писателей и Международного ПЕН-Центра. Автор восьми художественных книг. Произведения Бершина переведены на английский, немецкий, испанский языки.

И тихо так. И пробуется снег
на роль врача в больнице поселковой.

Как хорошо, что мы теперь вдвоем,
и снег приносит истины простые,
о том, что мы еще переживем
и тишину, и зиму, и Баття.

ОТЕЦ

Значит, август.
Значит, дело в августе.
Не на Спас – так на яблокопад.
Так забытый мяч, застрявший в ауте,
яблоком в траву уходит спать.

Значит, август.
Значит, дело в яблоке,
так и не надкушенном, чужом.
Старой Евой на воздушном ялике
уплывала лучшая из жен.

Таял голос в полустертой скрипочке,
взятой в плен на той большой войне,
где судьба висела, как на ниточке,
на одной подпиленной струне.

Подавив в себе остатки крика,
то вздыхая, то визжа, как плеть,
как она скрипела это скрипка!
Как, срываясь, умудрялась петь

про друзей, про тех, что папиросы
так и не купили никогда.
И беззвучно выпадали росы
на разрушенные города,

где неслась разлука-ты-разлука
с этой и с противной стороны.
Я на свет родился тенью звука,
чудом долетевшего с войны

в мир, где ты, храня в дырявом ранце,
вместо жезла, – свой заплечный рок,
сам себе назначил долю агнца,
за которым явится пророк.

* * *

Я вырос на руинах той войны,
там, где за водкой и в кровавых драках
вернувшиеся с фронта пацаны
достреливали жизнь свою в бараках,

хватаясь за ножи и топоры,
размазывая братьев по заборам.
Я тоже мог по моде той поры
заделаться убийцей или вором.

Но у меня своя была война,
свой вечный бой, который вечно длился
меж двух дворов.
И не моя вина,
что я родился там, где я родился.

Пока вели угрюмый разговор
крутые мужики в угаре пьяном,
мы пядь за пядью занимали двор,
заросший повиликой и бурьяном.

Мы шли на штурм разболтанных оград
чужих садов, ломая ветки с хрустом,
не славы ради и не для наград –
там был наш враг.
А я считался русским.

Я шел вперед. Я был почти комдив.
Мы против комьев в полный рост вставали.
Ворчал сосед: мол, мало вас, жидив,
фашисты на войне поубивали.

Безногая, безрукая война
еще блуждала в переулках стертых,
выменивая хлеб на ордена,
сверкавшие на грязных гимнастерках.

И что нам до Великой Мировой,
застрявшей в историческом провале,
когда уже и с нашей, дворовой,
иных уж нет, а те – отвоевали.

Я уже писал о подмосковной даче, но что я могу поделать, если запах согретых солнцем сосен не оставляет меня, и куст шиповника с красным цветком перед самой террасой, и сороки трещат и прыгают на дорожке, ведущей к калитке.

Каждое утро, совсем рано, в любую погоду (таково папино правило) мы с папой ходим на реку купаться. На высоком берегу, еще безлюдном, мы складываем нашу одежду всегда под одним и тем же кустом, по холодной, влажной глинистой тропке, поневоле поджимая пальцы босых ног, осторожно спускаемся к воде, – вода желтая и прозрачная, сквозь нее видно илистое дно; часом-двумя позже начнут появляться купальщички, взобьют ил, замутят воду. Тогда купанье уже совсем другое, чем это раннее, свежесть и запах которого уносишь домой и чувствуешь на коже даже под припекающим плечи солнцем, когда потом сидишь на террасе и пьешь чай. Мы тихо входим в воду и не ныряем сразу, чтобы тотчас привыкнуть к ее утренней прохладе, не окунаемся, бултыхнувшись, у берега, папа не любит этого, – выбирая ноги из ила, мы идем все дальше в глубину, дыхание захватывает, и лишь в тот момент, когда чувствуем, что со следующим шагом уже погрузимся с головой, так же неспешно отталкиваемся от дна и плывем. Папа плывет на боку, – почти незаметно двигая руками и ногами, ровно и бесшумно рассекает воду, я, хоть и стараюсь не нарушать благодати утреннего покоя, шлепаю по воде ладонями. Солнце, поднимаясь, разгоняет редкий туман над рекой, блестит на траве противоположного плоского берега и, когда мы плывем обратно, уже слегка слепит нам глаза. (Тут я хотел еще написать про белые с нежно-желтой сердцевинкой лилии, лежащие на темной воде, но получалось слишком красиво – и я вычеркнул.) После купанья папа бросает мне полотенце, но сам не вытирается. Лев Толстой, объясняет он, никогда не вытирался после купанья: он полагал, что в капельках воды, которые остаются на коже, имеется полезный организму кислород...

• **Владимир Порудоминский** родился в 1928 г. в Москве. Окончил редакционно-издательский факультет Московского полиграфического института (1950). Русский писатель и литературовед, автор научно-популярных и биографических книг. Член Союза писателей СССР (1969), наиболее авторитетный биограф В. И. Даля. Автор многих беллетризованных биографий, вышедших в книжной серии «Жизнь замечательных людей». С 1994 г. живёт в Германии.

Анна Алексеевна появилась у нас на даче, когда лето уже подобралось к середине. Ее привезла тетя Юля, приятельница моих родителей, похожая на клоуна – рыжие волосы, большой рот, губы покрашены яркой помадой. Тетя Юля вместе с братом, дядей Митей, и дочерью Люсей снимала дачу по той же улице, что и мы, через несколько домов. «Бонна» – так тетя Юля называла Анну Алексеевну – должна была давать мне уроки русского и немецкого языка, математики, рисования, главное же – следить за мной, пока родители были в городе. Папа все лето работал без отпуска, у мамы отпуск кончился, она даже брала какие-то дни за свой счет, и теперь, уезжая рано утром в Москву, они оставляли меня под надзором Варвары Семеновны (или Степановны? – не помню), крупной рыхлой женщины, всегда в черной косынке поверх седых, стянутых пучком на затылке волос. Она обитала на одной даче с нами, но комната ее выходила окнами на задний двор. Варвара Семеновна (или Степановна) кормила меня макаронами, тогдашними, толстыми в палец, из серой муки, посыпанными сахарным песком (никогда больше не ел такого), и не называла по имени – только «мальчик». «Мальчик, – говорила она замирающим голосом, – не ходи, пожалуйста, на улицу: там – мальчики».

Я не спорил с ней, потому что, в общем-то, был домоседом, но однажды, помню, кто-то из местных ребят сказал мне, пробегая мимо, что в недостроенном заброшенном доме на самом краю поселка, у леса, они своими силами будут показывать цирк, – и я решил посмотреть представление. Зрители расположились на балках по всем четырём сторонам просторного, отовсюду открытого свету сруба, а посредине, на непокрытом еще досками земляном основании пола, кое-где уже поросшем травой, топтались братья Петька и Васька, тоже с нашей улицы, они изображали клоунов. У них были намазанные чем-то белым лица и свекольно-красные носы. «Здравствуй, Бом!» – пронзительно закричал старший, долговязый Петька. «Здравствуй, Бим!» – таким же голосом отозвался маленький складный Васька.

– Почему ты смеешься, Бом?

– Потому что твоя жена в меня влюбилась, – лихо справился с ответом Васька.

Зрители радостно загоготали.

– Ах, так! – закричал Бим. – Тогда сейчас ты будешь плакать.

Он схватил приготовленную палку, довольно сильно ударил Ваську по голове и громко засмеялся: «Ха-ха-ха». На глазах у Васьки блеснули слезы, но он не вышел из роли, улыбнулся и очень натурально произнес: «А вот и не заплачу».

– Нет, заплачешь! – истошно заорал Петька и снова взмахнул палкой.

– А вот и нет! – увернулся от удара Васька и отскочил в сторону. – У тебя жена такая хорошая!

И он показал руками в воздухе выступающую далеко вперед грудь и обширный зад.

Восторженная публика прямо-таки покачнулась от хохота.

Но в этот момент представление оказалось прервано появлением матери наших клоунов. Она была такая же долговязая и костистая, как Петька. В руке она почему-то держала огромный мужской башмак. «Васька, ты что ж это делаешь, артист сраный!?! – закричала она пронзительным Петькиным голосом. – Тебе что сказано было делать?» Не ведая, что должен был делать Васька взамен того, чтобы изображать клоуна, я почувствовал себя неудобно, покинул цирк и направился домой. По другой стороне улицы мать, выкрикивая ругательства, гнала впереди

себя Ваську и едва не на каждом шагу лупила его тяжелым башмаком по голове и плечам; он прикрывал голову руками и тихо плакал. Варвара Семеновна (или Степановна), выйдя на шум, стояла на нашей террасе, смотрела на происходящее и, кажется, не замечая, что делает, развязывала и снова завязывала свою стянутую узелком на подбородке черную косынку. Губы ее шептали что-то. «У меня тоже был мальчик, – сказала она мне. – Один мальчик в гимназии ударил его книгой по голове, и он умер». Это сообщение потрясло меня. С тех пор я никогда никого не бил книгой по голове. Когда Васька и его мать скрылись из виду, мы пошли есть макароны с сахарным песком.

Дача, которую снимали тетя Юля и дядя Митя, была старой постройки, еще начала века, «двовоенной», как тогда говорили. Время, которое мне привычнее и понятнее было называть «до революции», взрослые чаще обозначали словами – «до войны»: «До войны хлеб стоил две копейки, а мясо девять»; книги «Золотой библиотеки», которые мне давала читать тетя Юля («Маленький лорд Фаунтлерой», «Сонины проказы», «Примерные девочки») были изданы еще до войны, как и энциклопедия «Брокгауз и Эфрон», стоявшая в комнате у дяди Мити; Варвара Семеновна (или Степановна) говорила: «До войны мальчики и девочки учились раздельно». Папа, который военным врачом ухватил этой самой «войны», то есть первой и тогда единственной мировой, повторял огорченно, что после всех ужасов и жертв, принесенных войной, люди были уверены, что больше воевать уже не придется («не сошло же человечество с ума!»), но вот тучи опять, кажется, сгущаются, и, похоже, не миновать.

Дядя Митя жил на втором этаже, в просторной комнате с крытым балконом. Обстановка была не дачная – городская, по большей части старинная. Письменный стол на ножках, обтянутый зеленым сукном, на нем массивный письменный прибор из хрусталя и бронзы – чернильница, пресс-папье, стакан для перьев, у стола – кресло с высокой спинкой, вдоль стены – книжный шкаф с застекленными дверцами, кровать за китайской ширмой – по желтому шелку взлетали в небо белые и черные аисты. «Все это – часть меня самого, – говорил дядя Митя, обводя комнату худой бледной рукой. – И мне не хочется расставаться с этим, прежде чем я расстанусь с самим собой». Дядя Митя болел туберкулезом. У него было бледное лицо с тонкой голубоватой кожей на висках и такие же голубоватые тонкие пальцы рук. Даже в теплую погоду он не снимал серого халата с темно-зеленым бархатным воротом. В кармане он носил небольшую склянку цвета йода с широким горлышком: кашлял, отвинчивал крышечку, сплевывал в склянку мокроту и завинчивал снова.

Дядя Митя умер вскоре после нашего возвращения с дачи в Москву. Пришла тетя Юля и принялась подробно и шумно рассказывать, как он задыхался перед смертью, как за несколько часов перед концом потерял сознание и умер в беспомощности. «И не ел ничего, наверно, уже неделю, а тут весь обложился». Исполненная тайны мистическая смута, в которую повергала мою юную душу мысль о смерти, образ покойника, тяжело и болезненно тревоживший мое воображение, странно и страшно не сопрягались с низменным «обложился» и теми реальными подробностями, которые за этим стояли. Может быть, именно тогда я, не сознавая того, впервые задумался о бессмертии души: мгновенное превращение тела в нечто грязное, распадающееся, которое нужно тотчас убрать, закопать, сжечь, не совпадало с представлением о конечной цели и назначении человека.

У меня до сих пор хранится дядимитина тетрадь, в которую он заносил русские и немецкие стихи, им самим сочиненные, – довоенная тетрадь в черном кожаном переплете, ослепительно белая бумага с тонко намеченными темно-зелеными линейками строк. На первой странице дядя Митя нарисовал черной тушью красивый готический замок с остроконечными башнями, и его русский почерк был похож на готический немецкий – тонкие, остроконечные, устремленные вверх буквы. Я собезьянничал у него большое «Д», имеющее форму узкой треугольной арфы, это не нравилось моей школьной учительнице, – от нас требовали, чтобы мы все писали одинаковыми буквами, согласно прописям, с одинаковым нажимом (был такой предмет – «чистописание»), и писать в школе разрешалось только пером типа «8б», вставленным в простейшую палочку-ручку с жестяным наконечником; самопишущие ручки почитались тогда редкостью.

Анне Алексеевне было лет шестьдесят. Лицо ее отличалось некоторой странностью. Правильной формы нос, красиво очерченные губы, большие черные глаза, не утратившие блеска, но все будто создавалось без мысли о целом, соединилось наскоро, не подгонялось одно к другому, и даже сияющие глаза искажались стеклышками простеньких очков в металлической оправе. Волосы ее, уже более седые, чем черные, были коротко подстрижены, и это тоже не шло к ней. К тому же ее крупной лепки голова покоилась на маленьком, казавшемся невесомым теле, хотя движения ее при этом были неторопливы, а шаг отличался мужской твердостью.

Чуть ли не четверть века Анна Алексеевна прожила за границей, в Швейцарии, и лишь недавно, по неведомой причине, возвратилась в Россию, то есть в Советский Союз. Жить ей было негде, ее держали у себя какие-то уцелевшие знакомые и знакомые знакомых, – она оплачивала гостеприимство и зарабатывала свой скромный хлеб уроками, которые давала детям в этих знакомых семьях. Анна Алексеевна – за недолгое время ее пребывания у нас я изведаль это на собственном опыте – добросовестно преподавала языки, математику, основы некоторых естественных наук, а также музыку и рукоделие, от последних двух дисциплин я, восстав, был избавлен, впрочем, она успела научить меня вырезать из картона красивые рамки, а затем украшать их, вышивая по картону цветными нитками узоры (искусство с возрастом мною совершенно утраченное). Перед тем, как попасть к нам, Анна Алексеевна натаскивала отстающего в школе по всем предметам сына заместителя народного комиссара; место было удачное и, возможно, сулило ей кое-какие блага, но однажды заместитель народного комиссара, проходя мимо комнаты сына, услышал, как Анна Алексеевна диктует своим размеренным, строгим голосом: «Спутниками Солнца, в порядке удаленности от него, Бог создал следующие планеты: Меркурий...» Вторую по удаленности планету ни сын заместителя народного комиссара, ни сам заместитель уже никогда не узнали: учительница была в ту же минуту изгнана из властительных чертогов (к слову, по нынешним временам более чем скромных). Тетя Юля тотчас, горячо по своему обыкновению, приняла в ней участие и убедила моих родителей взять ее к нам. Анна Алексеевна помнила тетю Юлю еще девочкой, была даже когда-то знакома с ее и дяди Мити отцом, очень важным господином, чуть ли не действительным тайным советником (до революции, конечно).

Вместе с Анной Алексеевной в нашем доме впервые, при мне во всяком случае, появилась Библия: большого формата очень толстая книга на немецком языке в прочном, кажется, деревянном переплете, обтянутом грубым серым холстом.

Книга была напечатана готическим шрифтом, крупным и черным, так плотно, что слова в строке сливались в единый энергичный, бегущий узор. Библия хранилась в серой же холщовой сумке, которую Анна Алексеевна при необходимости носила на ляжке через плечо.

Анна Алексеевна была адвентистка седьмого дня. Каждую субботу, еще до восхода солнца, она брала свою Библию и еще в руку клеенчатую сумку с едой и питьем и отправлялась в лес – молиться в одиночестве и ждать прихода Мессии. В некотором смысле с Анной Алексеевной возвратилось в наш дом и подзабытое уже представление о днях недели: время отмерялось тогда не принятыми неделями, а пятидневками, потом шестидневками, – без отмененных понедельников, суббот и воскресений. Мессия должен был явиться непременно в субботу, и с его приходом наступал конец света. «Если Он придет, я не вернусь больше», – предупреждала она накануне. «Значит ли это, что, если вы не вернетесь, то, следовательно, Он пришел?» – шутил папа. Но Анна Алексеевна не принимала шуток. Она холодно взглядывала на папу большими, еще и увеличенными стеклышками очков глазами: «У моего невозвращения могут быть иные, не столь существенные и не столь радостные причины». Мама нервничала, закуривала, ломая спичку (всегда ломала, когда нервничала): «Втянет она нас в какую-нибудь историю». Папа ее успокаивал: «Чтобы попасть в историю, право, не требуется Анны Алексеевны».

Анна Алексеевна была учительницей придирчивой и точной. В письменных работах по математике она отмечала на полях синим карандашом правильно решенные задачки и примеры, красным – ошибки, выводила процент и, соответственно, ставила оценку. Но учился я с интересом, хотя по вечерам ворчал потихоньку, объясняя родителям, что они этими дополнительными занятиями, в которых я не нуждался, испортили мне лето. Анна Алексеевна живо, с интересными подробностями рассказывала об исторических событиях многовековой давности, о достопримечательностях стран, в которых она побывала и в которых я во времена моего отрочества не мечтал побывать, о великих творениях искусства. Для диктантов она выбирала тексты, отмеченные смыслом, а не только скоплением трудных случаев орфографии и пунктуации, – большей частью из классики.

По-немецки мы читали сказки Гауфа и сентиментальное биографическое повествование «Луиза, королева прусская». В конце книги, к главе о смерти еще молодой королевы была приложена трогательная картинка: припав к ногам кровати, на которой умирает королева, опустились на колени ее дети (не помню уже, сколько их), поодаль стоит со скорбным лицом царственный супруг Фридрих Вильгельм Третий. Картинка встревожила, даже напугала меня – незадолго перед тем я прочитал толстовское «Детство», таящийся в ребенке страх смерти родителей остро ожил в моей душе. Анна Алексеевна заметила и как я помедлил над картинкой, и как быстро, словно отделяваясь, перевернул страницу: «А я вообще не помню свою мать. Она умерла, когда я была совсем маленькая». Но на картинке присутствовал еще скорбный Фридрих Вильгельм: «А отец?» – спросил я. Анна Алексеевна задумалась, будто припоминая: «Мы почти не встречались с ним. Меня воспитывал отчим. Со временем ты поймешь, как это получилось». Я не стал разгадывать странных семейных обстоятельств моей учительницы, но в эту минуту ее неведомая жизнь почудилась мне, без сомнения, более интересной, чем жизнь нежно ею любимой Луизы, королевы прусской.

Мы читали также немецкую Библию, по Книге Руфь и по Книге Товита я даже писал изложения, – эти Книги и поныне остались одним из моих любимейших чтений.

Варвара Семеновна (или Степановна) относилась к Анне Алексеевне без доброжелательства. Она презрительно улыбалась и пожимала плечами, глядя, как «немка» (так она за глаза именовала учительницу) хозяйничает на кухне, приготавливая для себя особую пищу: Анна Алексеевна строго держалась вегетарианского стола. В маленькой, почти кукольной синей кастрюльке она варила какие-то серые клейкие кашицы, в которые подливала ложку-другую желтого подсолнечного масла. Мудрено ли, что всякий раз, когда обстоятельства принуждали меня пробовать яства из синей кастрюльки, я с вожделием и тоской вспоминал посыпанные сахарным песком макароны Варвары Семеновны (или Степановны). Адвентизм «немки» Варваре Семеновне (или Степановне) тоже не пришелся по душе: «Сидит в лесу – молится колесу». Но когда Анна Алексеевна читала мне вслух Библию, она останавливалась у двери и, то развязывая, то снова завязывая на пухлом подбородке черную свою косынку, внимательно слушала. «Не учили меня толком, – говорила она, вздыхая. – Вот мальчик мой окончил бы гимназию, он бы понял». И прикасалась к глазам концом косынки.

Анна Алексеевна стала вместе с нами ходить по утрам купаться, это, признаюсь, меня злило: у нас с папой по дороге на реку и обратно образовался свой ритуал сокровенных разговоров, теперь папа вел дорогой беседы с Анной Алексеевной, я прибавлял шагу и уходил вперед, полагая и вместе показывая им, что слушать их мне неинтересно. Папа – я замечал, с большим интересом – расспрашивал Анну Алексеевну о ее жизни, то и дело вставляя в речь свое вежливое «Простите мне, если затрудняю вас своим вопросом», на что Анна Алексеевна неизменно отвечала: «Отчего же, сделайте одолжение», – и мне это очень нравилось. Еще больше мне нравилось, что, недослышав или недопоняв, она, переспрашивая, не произносила привычное «А?» или «Что?», а говорила с особенной предупредительной интонацией: «Простите?» Я было перенял у нее это «Простите?», но в моей тогдашней компании оно вызывало смех, да и даже много позже встречалось собеседниками с недоуменной улыбкой и потому, должно быть, в моем словесном обиходе не привилось.

Обнаружилось, что, путешествуя по Германии, Анна Алексеевна останавливалась на некоторое время в Лейпциге, и именно тогда, когда папа учился в тамошнем университете, они вполне могли ненароком встречаться в баховской Томаскирхе или на музыкальных концертах в Гевандхаузе, это предположение обоим очень нравилось, они с увлечением перебирали памятные обоим подробности.

На берегу Анна Алексеевна забредала в густой кустарник и долго переодевалась там, чтобы появиться в белой до полу рубахе из плотной материи с высоким воротом и длинным рукавами. Она входила по шею в воду и несколько минут стояла неподвижно, лишь слегка поводя по поверхности воды руками, будто отгоняя ее от себя, потом, с трудом вытаскивая ноги из тинистого дна, выбиралась обратно на берег. Однажды, стрельнув взглядом в кусты (не скажу, чтобы случайно), я увидел в просвете ветвей совершенно обнаженную Анну Алексеевну: она стояла ко мне спиной и старательно вытирала полотенцем у себя между но-

гами; у нее была узкая, как у девочки, спина, желтоватые комочки ягодиц, – мне стало неприятно, что я это вижу.

После ужина мы подолгу засиживались на террасе, темнело уже не поздно. Зажигали керосиновую лампу. На ее густой желтый свет слетались мотыльки, с лёту громко стучались маленькими телами о разогретое стекло. Я читал книгу, мама и Анна Алексеевна беседовали в углу на тахте (в теплые ночи мама оставалась спать на этой тахте, на террасе, – у нее болело сердце и в доме ей часто не хватало воздуха). Однажды они говорили о воспитании детей, и Анна Алексеевна рассказала маме, что, когда она, уже будучи в Швейцарии, выходила замуж, свекровь, между прочим, подарила ей на свадьбу пучок розог и к нему две шелковые ленты, голубую и розовую: розги следовало повесить над колыбелькой новорожденного ребенка, перевязанные, в случае если будет мальчик, голубой лентой, если девочка – розовой. Мысль о том, что сечь детей не следует, не приходила даже в голову, хотя свекор был профессор, читал в университете историю Древнего Рима. Мое знакомство с розгами основывалось только на литературе. В книге «Сонины проказы», которую я время от времени по привычке брал у тети Юли, имелась соблазнительная картинка: проказница Соня в задранном платьице лежит кверху попкой на коленях у воспитательницы, и та подняла над ней несколько зажатых в кулаке прутиков. Картинка щекотала мое воображение. Совсем другие – ужасающие – розги встретил я в «Детстве» Горького: дед исступленно полосует вымоченными в воде прутьями тело Алеши, а после опытный парень Цыган учит его, что надо не сжиматься, а, чтобы не так больно было, «киселем лежать», – я старался побыстрее пролистать эти страницы. «Ну и как? – спросила мама, выслушав историю Анны Алексеевны. – Вы повесили над кроватью розги?»

– Я никогда не заводила детей, – отозвалась Анна Алексеевна.

Приближалась осень. Краски вокруг стали более густыми и определенными, и от этого все смотрелось как-то по-новому, вместе праздничней и печальней в своей последней красе – и желтизна в зелени напитавшейся дождями листвы, и ржавчина посыпанной песком дорожки от крыльца до калитки, и лиловые астры на клумбе перед террасой. Все чаще, отправляясь купаться, мы укрывали сброшенную одежду папиным черным плащом-макинтошем с подкладкой в мелкую черно-белую шашечку. Для Анны Алексеевны тетя Юля раздобыла огромный, изрядно обветшалый черный зонт с ручкой из пожелтевшей кости. По субботам, невзирая на погоду, Анна Алексеевна по-прежнему отправлялась в лес, вечером она возвращалась иной раз промокшая до нитки, но непременно радостно взволнованная, раздумывавшаяся, с сияющими за стеклышками очков глазами. «Радуюсь, что конец света снова отложен на неделю, и еще более радуюсь вас видеть», – шутил папа. Анна Алексеевна весело грозила ему пальцем и удалялась переодеться. «Подхватит воспаление легких», – мрачно пророчила мама. «Не подхватит: слишком верует», – отвечал папа и, кажется, всерьез.

Вместо прогулок, особенно в дождливые дни, мы часто заходили к дяде Мите. В доме у них было тепло и сухо, пахло натопленными печами. С Анной Алексеевной у дяди Мити тотчас завязывалась оживленная беседа. Разговор непременно сворачивал на родню Анны Алексеевны, это удивляло меня, хотя не интересовало никого.

– Брата вашего мне доводилось видеть, – говорил дядя Митя. – Перед войной, еще студентом, я служил некоторое время в Съезде железных дорог; Сергей Алексеевич был к этому времени уже важным генералом в ведомстве путей сообщения.

– Он умер в Константинополе в девятнадцатом году от тифа. А где вы жили в Петербурге?

– На Невском, за спиной юсуповского особняка. А помещение конторы Съезда – возле Александринки. В двух шагах. Кто-то потом мне рассказал, что на той же лестнице, где и я, только выше, прежде жил Гаршин.

– Там он и в пролет бросился?

– Нет, это в другом доме, ближе к Владимирскому...

Когда речь зашла о Гаршине, внимание мое сделало стойку. Гаршин был любимым писателем папы. Я, кажется, еще и в школу не пошел, он прочитал мне вслух «Attalea princers» и «Красный цветок»; «Четыре дня» я читал уже сам.

Сумасшествие Гаршина и подробности его гибели волновали мое юное воображение. Но собеседники не задержались на судьбе любимого папой писателя и снова продолжали о том, что занимало их заведомо больше, оставив меня в углу у книжного шкафа перелистывать – это было мне позволено – тома Брокгауза и рассматривать лелеемый дядей Митей альбом с марками.

В альбоме, очень толстом, с плотной бумагой, золотым обрезом и вытесненным золотом на зеленом переплете сфинксом, меня особенно привлекал раздел «Россия». В самом названии таилось нечто смутительное, как говаривали в старину, щекотавшее нервы причастностью к запретному: это было слово не из «до войны», а из «до революции». Под красиво выведенным готическим шрифтом дяди Мити заголовком «Россия» размещались рядами серии с портретами русских царей, и в этом было тоже нечто подпитывавшее уже набранные моими порами у старших, которые меня окружали, страх и осторожность. Я любопытствовал однажды, почему раздел «Россия» не продолжен «Советским Союзом». «Но это же две совершенно разные страны, – с каким-то даже недоумением объяснил дядя Митя, основательно запутывая мои исторические представления. – Я коллекционирую марки только одной из них».

– ...В семьдесят шестом Ваш отец отправился в Сербию умирать под пулями – и что же? – продолжал он разговор с Анной Алексеевной.

– И вернулся, слава Богу, живехонек, к тому же генералом. Женился на княжне Сорокиной, принял видную должность при наместнике на Кавказе и укатил в Тифлис. Я почти не встречалась с ним. Я всем обязана отчиму и сильно горевала, когда он умер. Алексей Александрович был очень добрый человек, хотя доброту в нем не всякий мог разглядеть сквозь его педантизм и хорошие манеры. К тому же он был очень умен.

– Помнится, печать сочувственно отозвалась на его кончину, хотя до того казалось, он безнадежно забыт.

– Да, смерть совпала с поражением в русско-японской войне, которое он не пережил и которое вслух предвидел. В ту пору меня уже не было в России.

– О смерти Толстого Вы узнали тоже за границей?

– Вы не поверите: в Люцерне. Мальчик в отеле протянул мне газету: «Умер ваш великий писатель, мадам». Признаюсь, поначалу я как-то даже не очень огорчилась. Мне представлялось, что он – как это поётся? – все, что мог, то уже совершил. К тому же я была зла на него.

– Помилуйте, за что же?

– Он ужасно меня обидел. Мы встретились всего однажды, случайно, зимой девятьсот первого года в Ялте, в гостинице. Там жила тогда Мария Львовна, его младшая дочь. Я с ней познакомилась, даже оказалось слегка в родстве, через Колю Оболенского, ее мужа. Сам Лёв Николаевич болел, находился в Крыму на излечении и жил в Гаспре, на даче у графини Софьи Владимировны Паниной (с ней я была знакома еще по Петербургу, она несколькими годами старше меня; кажется, она еще жива). Он приехал в Ялту повидаться с дочерью. Меня представили ему как старую знакомую. Он взял мою руку в свою, мягко пожал ее, посмотрел мне в глаза своими по-волчьему поставленными глазами (такая волчья постановка глаз у Толстых почти родовая особенность) и решительно объявил: «Не помню». Его принялись уговаривать, он упрямо качал головой: «Не помню, не помню». Я сказала дерзко: «Как же Вы не помните? Вы даже сравнили мои глаза со смородиной, а потом передарили эту смородину другой женщине». Но он твердил свое: «Не помню: ни вас не помню, ни смородину, ни другую женщину»...

– Это всё юродство его, юродство, ему любезное! – почему-то радостно вскрикнул дядя Митя, закашлялся, сплюнул в баночку и снова завинтил крышку.

– Я лишь позже поняла, что он был для меня. Он хорошо сказал однажды, Толстой: только после смерти человека понимаешь, насколько его любил.

– То есть: или – не любил...

– Ну, конечно. Узнаешь подлинную меру любви...

Я сидел в сторонке, у книжного шкафа, том за томом перелистывал энциклопедию Брокгауза и Эфрона, но, даже если беседа взрослых не занимала меня, с отроческим жадным любопытством схватывал и запоминал всё, о чем они говорили. При этом я все время напряженно и чутко прислушивался к тому, что творится внизу, на первом этаже. Я ждал Люсю. На дачу Люся приезжала нечасто, и, едва она появлялась, я тотчас, без малейшего сожаления покидал взрослых с их разговорами и бежал к ней.

С Люсей, дочерью тети Юли, мы были ровесники, но она казалась мне много старше и опытнее меня. Люся училась не в обычной школе, а в балетной, и уже это проводило неодолимый рубеж между нею и остальными моими знакомыми мальчиками и девочками. Когда собирались гости, тетя Юля приказывала: «Люся, станцуй!» Люся охотно убегала переодеться и через минуту появлялась в тонкой просвечивающей блузке без рукавов и широкой, более длинной, чем обычно, юбке. На патефон ставили пластинку... Я видел в жизни немало хороших балерин, но ощутимо, до подробностей, запомнил только нескольких, самых великих, – и Люсю. В конце танца Люся непременно долго и сильно крутилась на месте («Как только голова не закружится!» – восхищенно говорили гости), юбка ее, раскрутившись, поднималась все выше, открывая стройные обнаженные ножки, высоко-высоко, до беленьких тесных трусиков, таких крошечных, что мне казалось, они ничего и не прикрывают. Никогда ни у какой девочки я прежде не видел такие ноги, и так не видел, – в школе, если девочка нагибалась неловко, у нее из-под юбки выглядывали плотные, трикотажные, голубые, розовые и лиловые штаны до колен, на уроках физкультуры девочки надевали сатиновые рейтузы, схваченные снизу резинками, – да что говорить, это были не те девочки и не те ноги: в них не было сладостного соблазна, который мучил меня, когда я видел Люсю. Пока Люся кружилась, мне казалось, что, доведись мне прикоснуться ла-

донями к ее ногам, погладить их, я бы умер от нестерпимого мучительного восторга. Но – прелесть кончалась: раскрутившись до невозможности, Люся вдруг резко приседала, юбка вокруг нее вздувалась шаром и оставалась так несколько времени, это был замечательный эффект, зрители разражались аплодисментами. Люся раскланивалась, приседая на одну ногу и выпрямив вперед другую, плавно распахивала обнаженные руки, будто обнимая всех и покорно опускала голову с белокурыми завитыми локончиками на висках.

Когда мы оставались вдвоем, Люся, широко раскрыв глаза, упоенно рассказывала мне фантастические любовные истории, будто бы бесконечно происходившие в ее балетной школе, сообщая подробности, поражавшие меня смелостью и новизной, от которых у меня все замирало внутри. Сама Люся также оказывалась подчас героиней таких историй («Он положил мне руку на грудь и поцеловал прямо в губы... Я почувствовала, что теряю голову...»). Ревность сжигала меня; я мрачнел, но продолжал жадно ловить каждое ее слово. Особенно донимал меня некий Аркадий, то ли реально существовавший, то ли рожденный буйной Люсиной фантазией, – не ведаю, двадцатилетний красавец, прежде учившийся в балетной школе, а теперь приглашенный сниматься в кино – конечно же, на главные роли. Этот Аркадий был безумно влюблен в Люсю и обещал, если она согласится принадлежать ему, сделать из нее киногероиню. «И ты что?» – спрашивал я всякий раз, замирая от страшных предчувствий. «Понимаешь, я еще не могу решиться до конца, хотя многое уже было, многое было», – отвечала Люся тоном опытной женщины. Я мучил себя, со сладострастной жестокостью воображая (в меру моей тогдашней осведомленности) это «многое», ненавидел Аркадия и придумывал изощренные способы его убийства. «Понимаешь, – вдохновенно объясняла Люся, – я буду, как Франческа Гааль!.. Иди сюда... – она тянула меня за руку и крепко прижимала к себе. – Танцуй танго, – пела мне в самое ухо Люся из фильма Франчески Гааль. – Мне так легко... Тарара-та-там... Три шага вперед и на месте... Тата-там... Господи, какой же ты глупый!..» А я чувствовал, как упираются мне в грудь ее крошечные крепкие грудки с твердыми, как орешки, кончиками, чувствовал на щеке и на шее ее теплое дыхание, – сходил с ума и не попадал в такт...

Через два года арестуют тетю Юлю, какие-то родственники увезут Люсю в город Борисов (где-то в Белоруссии); спустя три с половиной десятилетия знакомый переводчик, в детстве учившийся с Люсей в балетной школе, встретил ее в Вене, она продавала в аэропорту газеты, журналы и табачные изделия и не говорила по-русски.

Беседы дяди Мити с Анной Алексеевной часто сворачивали на тему о конце света, «кончине мира», как у них это именовалось.

– Основатель адвентизма Миллер, ежели не ошибаюсь, предсказывал кончину мира в 1847 году, – говорил дядя Митя. – После, большинство со злорадством, но иные и с сожалением, отмечали ошибочность пророчества...

– Поскольку кончина мира связана с пришествием Мессии, никто не вправе назначать дату, – перебила его Анна Алексеевна. – Даже Миллер. Божественное провидение никому не открыто.

– Кончина мира – не обухом по голове. Раз – и нету. Как всякий день творения, по нашим человеческим мерам времени длился тысячелетия, так и низвержение созданного. Первый шаг человечества стал шагом к кончине. Создатель

только успел спросить Адама: «Адам, где ты?», но Адам был уже далеко от Него. Наш мир будет помирать долго. И не весь сразу. В разных своих частях и в разное время постепенно подвигаясь к концу. И Мессия, ежели соблаговолит прийти, придет в последний момент, когда все будет кончено, уже судить нас, грешных. Другое дело, что падение, как всякое падение, происходит с ускорением, и сегодня, особенно здесь, мы летим под откос с неизмеримо большей скоростью, чем триста или даже сто лет назад...

Если бы не эти беседы, вряд ли в мои отроческие годы я задумался бы о конце света, но, и задумавшись, я не в силах был вообразить его в каких-то зримых подробностях. Я представлял себе, что вот проснусь однажды, и вокруг не будет ничего (что это за «ничего», я представить себе не мог), ничего, кроме меня, и что мне делать в этом «ничего», я совершенно не знал. Я брал в «ничего» Люсю, там не было никакого Аркадия, и никто не мешал мне обнимать ее и прикасаться к ее твердым, как орешки, грудям. Но что-то должно было происходить дальше, и тут появлялись мои родители: мы разводили огород во дворе той же самой дачи, тоже каким-то образом уцелевшей; возникала также Варвара Семеновна (или Степановна) в своей черной косынке и варила серые макароны с сахарным песком, который закупила еще до кончины мира и хранила в наволочке; я трогал Люсину грудь и целовал Люсю в губы.

– Я потому и поспешила в Россию. Мне почудилось, что здесь – уже на пороге. Швейцария с ее привычным благополучием и банковской скучицей, похоже, переживет апокалипсис. Мессия туда и в день страшного суда не завернет. Там слишком сытно и удобно, чтобы открыть уши и слышать.

– Да, Россия, кажется, оказалась избранным полем. Боюсь, или, впрочем, надеюсь, что уже и – не на пороге. Что Рубикон перейден. Не остановишь. Только взгляните вокруг...

– *L'enfant est là*, – остановила собеседника Анна Алексеевна, и оба посмотрели на меня.

Я вышел и отправился бродить под дождем по улице в сторону станции и обратно, дожидаясь, что придет Люся.

Анна Алексеевна исчезла в самом конце лета, мы уже собирались перебираться обратно в город. Была суббота; несмотря на скверную погоду, Анна Алексеевна, по обыкновению, до света ушла в лес. Весь день ветер гнал по небу тяжелые тучи, то и дело срывался ливень и снова прекращался. «Безумие какое-то, – говорила мама. – Простудится, подхватит воспаление легких». Папа в пальто сидел на террасе, читал свой медицинский журнал и посматривал на калитку. Суббота совпала с общим выходным, родители оставались дома. Стемнело, потом сделалось совсем темно, Анна Алексеевна не возвратилась. Около полуночи, оставив на террасе зажженную керосиновую лампу, стали укладываться спать. Мама не раздевалась, то и дело закуривала, ломая спички, стояла у окна и смотрела в темноту. «Завтра придется заявить в милицию», – сказал папа. «Я знала, что вся эта история добром не кончится, – мама снова начала чиркать спичкой. – Но что же все-таки произошло?» Папа взял из ее руки коробок, зажег спичку и поднес ей. «Может быть, и в самом деле конец света», – невесело предположил он.

Рано утром – родители еще не успели уехать на работу – в дверь крепко постучали. На пороге стоял коренастый человек в черном макинтоше и защитного цвета суконной фуражке. «Угрозыск», – представился человек. За его спиной

высился тощий, с унылым носом участковый милиционер Иванов, хорошо всем в поселке известный. Человек из угрозыска предъявил бумагу, согласно которой должен был осмотреть и изъять все вещи, принадлежащие Анне Алексеевне. Всех вещей у Анны Алексеевны было небольшой фибровый чемодан и ручной сак из клетчатой ткани, перехваченный желтыми ремнями. Человек в макинтоше и фуражке бросил в почти пустой чемодан несколько висевших в шкафу платьев и кофточек Анны Алексеевны, собрал со стола немногие ее книги. «Книги заграничные будут? – спросил он. – Эта, к примеру, о чем?» На коричневом переплете в овальной рамке был помещен портрет Луизы, королевы прусской. «Это история прусской королевы Луизы, – спокойно объяснил папа. – Она умерла сто двадцать пять лет назад». Человек в макинтоше, прищурясь, посмотрел на портрет: «Королева, значит?» – бросил книгу в чемодан и защелкнул латунные замки. Варвара Семеновна (или Степановна) стояла на пороге, развязывала и завязывала свою косынку.

«Ну, теперь начнется...» – тоскливо проговорила мама, когда угрозыск, сопровождаемый унылым участковым, который нес чемодан Анны Алексеевны и клетчатый сак с ее зимним пальто, пледом и подушкой, скрылись за дверью. Но ничего не началось. Поздно вечером прибежала тетя Юля: «Ну, вроде бы, милостив Господь, неплохо отделалась. Дали, конечно, сто первый километр и отправили в Суздаль, кажется. Я завтра к Лизе Кораблевой забегу, попрошу выяснить. У нее связи...» Взяла у мамы папиросу, быстро закурила, перепачкала мундштук помадой, затынулась раз-другой и ткнула окурков в пепельницу. «Нет, не могу. Мутит меня от табака... И ведь говорила ей, дуре, чтобы не таскалась в лес. Ну, сами посудите, идет гражданин по лесу и видит: сидит под елкой старуха подозрительного не нашего вида, читает толстенную книгу на иностранном языке. Тут только святой не побежит доносить...»

Минуло два десятилетия. Уже в середине пятидесятых (все забываю, что человечество перескочило из моего века в следующий, и привычно не добавляю впереди «тысяча девятисот...») я встретил как-то на площади Ногина известного репортера Арнольда Ф. Он был приятелем всей тогдашней газетной Москвы, его любили за покладистый, незаносчивый нрав и ласково звали «Ноликом»; сам же он, как бы в противовес бытовавшему тогда выражению «ноль без палочки» и к тому же, очевидно, намекая на свои успехи у женщин, именовал себя «Нолик с палочкой». Нолик был репортер, что называется, от Бога: он чувствовал вкусный материал, как хорошая охотничья собака дичь, и едва не всякую неделю отыскивал что-нибудь необыкновенно завлекательное, за чем его коллеги рады бы и месяц, и год гоняться. Почти не сговариваясь, лишь переглянувшись, мы с Ноликом поднялись по узкой темной лестнице в простецкий ресторанчик «Севан», который помещался на втором этаже старого углового дома, над общественной уборной и знаменитым тогда на всю Москву колбасным магазином. Мы взяли бутылку армянского коньяка «Три звездочки», едва ли не лучший из тогдашних напитков. Нолик был ярко-рыжий, тонкокостный и тонкокожий, после первой рюмки его бледное веснушчатое лицо тотчас покраснело.

– А у меня, знаешь, такой материалаец с пера сорвался, сумасшедший материалаец.

Он сожалеюще цыкнул языком и снова наполнил рюмки.

– Ну, да волка ноги кормят. Глядишь, еще что-нибудь подвернется. Давай, за волчьи ноги.

Лицо Нолика покраснелось еще больше.

– Да что за материал-то?

– Скажу, но не поверишь. Ты Льва Толстого «Анну Каренину» читал?

– Читал, конечно.

– Роман-то помнишь?

– Помню, вроде бы.

– Ты только не смейся. Я третьего дня дочь Анны Карениной нашел. На Арбате, конечно, в переулке. Жила у подруги своей, такой же старушки – Яшвиль. Тоже, кажется, княжна какая-то. Домишко – совсем уже развалюха. Комнатенка в виде буквы «Г» – ход конем. Так вот она – в этом кривом конце, за печкой. Отсидела свое, конечно. Есть байка, будто сам Усатый приказал освободить. Когда узнал, наклат резолюцию: «Дадим дочери Анны Карениной умереть на свободе». А?

Давно забытое вдруг живо явилось в моей памяти, обожгло озарением...

– Погоди, так это Анна Алексеевна?

Нолик подозрительно взглянул на меня:

– А ты откуда знаешь, что Анна Алексеевна?

– У Толстого же написано...

– Смотри! а ты, оказывается, дока...

Он налил еще.

– Ну, давай тогда, не чокаясь, – вечная ей память.

– Как «вечная память»?

– Да в том и дело. Приказала долго жить. Сейчас, поди, как раз хоронят. Я с ней на сегодня договорился интервью делать. Хорошее могло выйти интервью. Теперь не то что раньше – многое можно написать. Представляешь, заголовок: «Дочь Анны Карениной»? Прихожу, а ее в церковь повезли – отпевать. Я и повернул восвояси. Не поверишь: церковь, покойница, – побаиваюсь как-то.

– Да ведь она адвентистка. Разве их отпевают?

– Ну, это не по моей части. А что адвентистка – тоже у Толстого написано?

– Нет. Лев Николаевич этого не знал (я почувствовал, что произнес «Лёв», но Арнольд, кажется, не заметил этого). Отчего же она умерла?

– Вот то-то и оно. Костью подавилась! Селедку ела – и подавилась. Ты представляешь: дочка Анны Карениной – и подавилась! Селедку ела!.. Какая тема! А хрен напечатают.

Он быстро опрокинул еще рюмку, вдруг громко захохотал и выкрикнул весело: «Он, евши, костью подавился!.. – хорош заголовочек?»

Воспоминания, сопрягаясь в огромное прошлое, толкались в моей голове. Душу захватило от зримо вставших перед внутренним взглядом подробностей, показавшихся такими значимыми и сокровенными. А в ушах чудовищной дразнилкой колотилось: «Он, евши, костью подавился!.. Он, евши, костью подавился!..»

Нина
САВУШКИНА

СТИХИ

СТАРОЙ ПОЭТЕССЕ

Между пыльных страниц, где когда-то мерцала пыльца
отлетевшего лета, фантазией детской согрета,
уподобившись бабочкам, ваши глаза в пол-лица
сквозь туман монохромный вспорхнули навстречу с портрета.

...Вы пропали с Парнаса, мелькали порой в новостях –
над стальными очками топорщилась чёлка седая.
В узловатой руке вы сжимали невидимый стяг
или посох пророка, в апокалиптичность впадая.

Но однажды на party, блуждая меж потных тату,
что змеились, сползая по голым девичьим предплечьям,
вы, зелёнку абсента прижав к воспалённому рту,
исцелить немоту попытались и поняли – нечем...

Тишину не прервать, провиденье не переиграть,
у фортуны не выклянчить перед последней раздачей
те заветные знаки, что сами слетали в тетрадь
и звенели, как зёрна, под вашу лапкой цыплячьей.

Отчего порвалось полотно, что ткалось и плелось
в завитушках чернил? Где чутьё, что звалось воспритьем?
Где весёлая злость, погружение в бездну насквозь –
всё, чем в старости мы за непрошенный опыт заплатим?

МАЭСТРО

Мы к вершинам горним с вами пошли, поверив.
Так в какие дебри вы своих подмастерьев
заманили и на пленэре решили бросить,
где в курчавых лесах водопада сверкает проседь.

Растопырив плащ, вы уселись квёлою птицей.
И неведомо нам – воспарить ли, обратно спуститься
в приземлённый дол, расчерченный на полоски,
где неброски краски, словно на фреске – плоски.

Мы вам подражали, за вами бежали ради
обретения сумасшедшей искры во взгляде –

• **Нина Савушкина** родилась в Ленинграде. Автор четырех поэтических книг. Публиковалась в различных литературных журналах, а также в сборниках «Стихи в Петербурге. XI век. Платформа», «23» (ЛИТО В. Лейкина), «Петербургская поэтическая формация» и др. Лауреат поэтической премии имени Н. Гумилева. Член Союза писателей Санкт-Петербурга. Живет в Царском Селе.

той, что кисти, будто свечи воспламеняла,
и сияла палитра, как жертвенник идеала.

Мы уже сполоснули зрачки в небесной лазури.
К нашей коже присох навечно закатный сурик.
Неужели нам, что кастальской влаги испили,
суждено опять ваять фантомы из пыли?

Мы достигли вершин. Стремиться теперь куда ж нам,
если путь обломился грифелем карандашным?
Вы безмолвны, профиль застыл, обратился в слепок,
на оскал светил полуночных взирая слепо.

ВЕЧНЫЙ РЫЦАРЬ

Смолоду, будучи романтической дурой,
Я призывала мечту: «Прилети, приди,
Голубь мой белокрылый, рыцарь мой белокурый,
С верным мечом в руке, со стрелой Амура в груди,

Чтобы, меня от напастей и бед спасая,
Ты, потрясая оружием, рвался в бой.
Я же – простоволосая и босая
С жертвенною улыбкой шла за тобой».

Мне говорили: «Бойся своих желаний,
Не оглашай их, лучше язык отрежь.
Всё, что казалось сказкой в юности ранней,
Время преобразует в жестокий трэш».

Стану я равнодушна к постельным ласкам,
Не совершу балетные антраша.
Но заржавелый рыцарь с костыльным лязгом
Встанет в дверях, идиллию сторожа.

Он меня спрятал от мира, назло погоням.
Нас не найдет никто, побег удался.
Город лежит под нами трупом драконьим,
В небо смердят фабричные корпуса.

Форточка в замке забита листом фанерным
От мириад фонарных, коварных глаз.
Мы – легковерная дама, ревностный кавалер. Нам
В полуфинале сказки выпало впасть в маразм.

Думалось мне за вашим плечом картонным:
«Стоило нам плутать, заплетать маршрут?
Мы безразличны всем, в том числе – драконам.
Немолодое мясо они не жрут».

СТИХИ

СТИХИТРОСТЬ

стихи – трость
на неё опираюсь
при ходьбе
по этой
жизни

САМО СОБОЙ

давненько
ничего
не сочинял
ну ничего
совсем
не сочинял

– и как?
– да как-то так –
не умер...

– еще успеешь...
в смысле – сочинишь
и удивишь себя
и удивишься...

– нет-нет
я завязал
и осознал
свое призвание:
стихов несочинитель...

– и как же ты теперь?
– да ничего:
не сочиняю –
не пишу
не сею...

и только
графоманную пластинку
я иногда из шкапа достаю

• **Арсен Мирзаев** – поэт, исследователь авангарда. Родился в Ленинграде в 1960 г. Автор ряда поэтических сборников. Стихотворения переводились на многие европейские языки. Лауреат московских фестивалей свободного стиха (1991 и 1993), Международной Отметины им. Д. Бурлюка (2006), премии «Avanmart Parni» (Симбирск – Чебоксары, 2006), премии журнала «Зинзивер» (2010, 2011). Заместитель главного редактора журнала «Футурум Арт». Член Союза писателей Санкт-Петербурга.

чтоб насладиться звуком
медных слов
внимать чудным кунштюкам
словолохов...
и тут же нечто
просыпается внутри
и говорит
само собой
само с собой...

* * *

куда же всё?..
уйти и возвратиться
с надеждой
без надежды
птица
птице
и птицею –
крылатою
бескрылой

о мир без слов
словесный
сволочь
милый

В ЛЕСУ

иду по нему:
одни щиплют
другие толкают
третьи пинают
четвертые приглядываются
пятые принохиваются
шестые могут и укусить
ну а седьмые
возьмут да и «нахлынут горлом»
ненароком...

вот каковы слова
в лесу словесности русской

* * *

есть стихи
но нету блеска

есть блесна
но где же леска

нет стихов
но есть слова
из свинца и
о-ло-ва

нет рыбалки
есть грузило

вот и славно
вот и мило

нету слов
но есть молва

где молва
а где волна

никогда мы не умрем
ветер горы зверь цветок

напишу я вас живьем
точка точка
завиток

ТАРАКАН

жил да был
таракан:
в детстве
отрочестве
юности

в людях
моих университетах
моих снах

миновали:
люди
годы
жизнь

трах
крах
прах

тухес
и нахес

махес
и цахес

а таракан
жил да был –
в детстве
отрочестве
юности

в людях
моих университетах
моих снах...

СКАЗКА О ДЕВОЧКЕ
(или Грустная Сказка)

жила-была Девочка,
которая никогда не улыбалась.

она не улыбалась,
когда просыпалась.

она не улыбалась,
когда пела песни.

она не улыбалась,
когда жизнь ужасной казалась.

она не улыбалась,
когда счастье в руки давалось.

она не улыбалась,
когда ложилась спать

– с любим: любимым
или нелюбимым
или с кем-то вообще
никак не определимым.

она не улыбалась,
как нам представлялось.
она улыбалась
в своем представлении.
на это способны
лишь мрачные гении...

она не улыбалась,
даже когда чудилось,
что она улыбается.

она не улыбалась
нигде и никогда.
и с неба ей светила
лишь ее персональная
неулыбчивая звезда.

она улыбнулась
только однажды –
когда умерла.
всевышнему слава!
Аллаху хвала!

.....

вот если б она
при жизни
хоть раз улыбнулась,
может и мне бы
не так грустилось
и лишь посмертно
взгрустнулось...

* * *

проходит время
мозг течет
пора бы
получить расчет...

и ни секунды не спасти
на этом сумрачном пути

и на просвет видна
вся жизнь
наперечет –
ее мгновенья

.....

и вот уж нет ее
и нет
вот этого
стихотворенья

НЕЗНАКОМКА

Всё случилось в этой комнате, у камина с ангелочками, где, в общем-то, ничего не случилось. Просто все курили, болтали о том о сём, ни о чём – о привидениях, в частности, повадившихся посещать этот старый питерский дом, и о прочем изящном вздоре, – а потом вернулись в гостиную продолжать праздник, а она осталась в этой комнате навечно, как ангел на камине, потому что её визави рассказывал ей какую-то длинную историю, случившуюся с его приятелем. Рассказывал он её долго, подробно, она изнемогала, подозревая, что этой истории не будет конца.

Собственно, начал он её рассказывать всем, но остальные, не дожидаясь бурного развития сюжета, тихо слиняли, а она вот застряла, кляня свою нерасторопность, и незаметно уйти теперь не предоставлялось никакой возможности. Смущал и тот факт, что по времени они оставались одни в этой комнате достаточно долго для двух незнакомых людей, чтобы это могло показаться со стороны несколько неприличным...

Нет, если бы её визави был толст, горбат и крив на оба глаза, всё было бы гораздо пристойней. Но он был красив, строен и портил его только этот длинный рассказ. Встать и уйти, прервав его, тоже было неприлично. Она металась душой между двух этих неприличий – какое выбрать? – пока кто-то опять не вернулся к камину, второй, третий: а, вы ещё здесь?! (Апропо: замечание неприличное!) Старик, а тебя жена потеряла!..

Он вдруг опомнился, смолк на полуслове и метнулся в комнаты, что уж совсем выглядело ну просто крайне неприлично! – но она вздохнула с облегчением и уже спокойно закурила с тем, кто был толст, крив и небогат словами.

Вот и всё, что было. Ангелы свидетели.

То есть ничего не было. Хоть убей, но она бы не вспомнила ни единого слова из длинного монолога её бесславно сбежавшего визави, тем не менее...

Тем не менее этот затянувшийся тет-а-тет в полумраке каминной комнаты послужил впоследствии причиной для досаднейшего недоразумения, возникшего между ним и женой.

• **Светлана Мосова** родилась в Кишинёве. Окончила филфак Кишинёвского госуниверситета. С 1992 г. живет в Санкт-Петербурге. Член Союза российских писателей и Союза писателей Санкт-Петербурга. Член Союза журналистов (дипломант конкурса «Золотое перо»). Редактор телеканала ГТРК «Санкт-Петербург». Публикации в «Литературной газете», журналах «Нева», «Звезда», «Подиум» (Вена), «Русский мир». Автор книг «Дождь из кошек и собак» (2007), «Умора, кукла Баранова и б«Б» (2011, финалист премии БЭБИ-НОС), «Тридцать четвертый сюжет» (2012, лонг-лист премий «Ясная поляна» и имени И. Бунина).

Он страдал безвинно: ну что тут такого, он просто рассказывал одну историю... Два часа?! Почему – два?..

Два не два, но именно эта сцена с женой стала началом его странного романа с совершенно незнакомой ему женщиной, лицо которой он даже плохо помнил... Помнил почему-то только большой синий камень на пальце левой руки, сапфир, должно быть, мерцающий в неверном свете горящего камина, – вот и всё. Только этот синий огонь да белые крылья прозрачной шали – да, да, вот шаль помнил, синий камень помнил, а женщину – нет, женщину он совершенно не помнил. Но жена (менее всего желая того!) акцентировала, сосредоточила, сфокусировала его внимание на незнакомке, заставила думать о ней, вспоминать, хотя – видит Бог! – он совершенно не собирался этого делать.

Но тогда его поразило другое: допускалась сама возможность его романа с другой женщиной!..

Это ошеломило его, он был из породы однолюбков и, кстати сказать, молчунов, и его красноречие в тот вечер действительно могло показаться странным. Что это было? Какой стих на него нашёл? Какой бес обуял? И не были ли те ангелочки на камине с рожками?

Так или иначе, но когда они вновь посетили тот ангельский дом...

К слову сказать, дом далеко не ангельский, а беспорядочный, безалаберный, построенный на стыке времён, мнений и вкусов – с множеством ниш и ступеней, уходящих во мрак теней, самое место прятаться привидениям! – дом, любивший гостей и блеск дорогого хлама, дом друзей их друзей, возникший случайно в их жизни и без особой причины на то.

Но жене нравился этот дом – нравились его предания, духи, нравилась невеста-призрак, всё плутовавшая, как уверяли очевидцы, в лабиринтах этого дома – в поисках утраченного, надо думать. Впрочем, он плохо слушал, вновь гостя в этом доме, он не был любителем холить чужие психозы, он был озабочен собственным: скованный тайной и непонятной близостью, возникшей в результате ревности его жены к незнакомой женщине, он так старательно обходил, миновал взглядом все пространства, где могла бы находиться белая шаль, что это также было замечено его наблюдательной женой, – и страдания его дома продолжились. То есть роман с женщиной, имени которой он даже не знал – не спросить же у жены! – шёл уже бурно, когда они вдруг случайно встретились на пересечении улиц Гороховой и Большой Морской.

Он пошел за ней. Как школяр. Как крыса за дудочкой. Плохо соображая, точнее, вообще не соображая – что, куда и зачем. Она обернулась, он остановился.

– Зачем вы идёте за мной? – спросила она.

– Не знаю... – честно ответил он. И добавил: – Сумеречное помрачение сознания. По-видимому.

– А что это такое? – удивилась она.

– Диагноз.

– Вы врач?

– Вообще – да.

– А в частности?

– Уже пациент.

Она улыбнулась. А он молча смотрел на неё, женщину, о которой думал уже постоянно и возникшую теперь – вдруг, внезапно! – словно из воздуха, из его светотени...

Она оказалась высокой, почти с него ростом, длинные волосы выглядели гораздо светлее, чем тогда, в полумраке каминной комнаты, но белая шаль, как птица, по-прежнему жалась к ней...

– Мы ведь знакомы?.. – наконец сказал он.

– Не уверена, – ответила она. – Я даже не знаю вашего имени.

– И я, – почему-то обрадовался он.

Она усмехнулась, поправила шаль – вспыхнул синий камень на пальце, и он мгновенно вспомнил и узнал его.

Они стали встречаться. Всё там же, на пересечении улиц Гороховой и Большой Морской, шли дальше по городу, населённому каменными богами и их присными, пили кофе в маленьком кафе в Свечном переулке, почему-то никогда не возвращаясь в своих разговорах к тому, первому вечеру их встречи... А может, это было из-за жены, и он подсознательно избегал всяческих упоминаний о том вечере, потому что как бы получалось тогда, что жена его была права – и всё началось именно там, в той комнате с ангелочками!..

И с женой, не сговариваясь, они тоже не вспоминали тот дом: жена вдруг разлюбила его (дом, в смысле) и они перестали бывать там.

Кончилось всё это внезапно и ещё более странно, чем началось. Впрочем, кончилось это всё тем же, чем началось, – той самой историей, которую он рассказывал ей в тот вечер. История эта, по правде сказать, не стоила того, чтобы её начинать, а уж тем более заканчивать, но она сказала:

– Занятная история. – Они сидели всё в том же кафе в Свечном переулке, успев обрести привычками и пристрастиями. – Жаль только, что ты начал с конца.

Он не понял: почему с конца?!

– Начало было там, у камина...

– У какого камина?

Он взглянул на неё:

– У камина с ангелочками. Ну, где мы впервые встретились.

Она удивилась:

– Мы впервые встретились на Гороховой.

Как – на Гороховой?!

– Ты забыла?.. Тот вечер?.. У Вознесенских?..

– У каких Вознесенских?

– Скульпторов!.. Ну я же ещё два часа рассказывал там тебе эту историю!..

Она улыбнулась, пожала плечами:

– Ты что-то путаешь... Я не знаю никаких Вознесенских. И никогда не сидела с тобой у камина. Мы встретились на Гороховой.

– Как – на Гороховой?! – И он вдруг осёкся.

Так вот оно что. Сумеречное помрачение сознания. Значит, диагноз поставлен был верно. Он славился как диагност.

– Подожди, – вдруг припомнил он. – Но ты же сама сказала тогда, на Гороховой: я даже не знаю вашего имени... Значит, имени ты не знала, а меня...

Она покраснела: прости, глупо, конечно... но... она обозналась тогда: она приняла его за человека, которого встречала в этом кафе... она даже думала, что, встретившись на Гороховой, они не случайно пришли сюда снова... Потом поняла, что ошиблась. Не обижайся. Ты обиделся?

Он? Нет. Разумеется, нет.

Она взяла его за руку:

– Не обижайся: какая теперь разница?!

Разница огромна. А впрочем...

Действительно, какая теперь разница? Никакой. Просто ему нужна была та, другая... А почему – та, а не эта? Потому. Потому что эта – не та.

Бред. Наваждение. Город населён призраками и двойниками. Климат такой – потворствует, как сырость плесени... Вот и за ним увязалась (почему – увязалась? он сам к ней пристал!) невеста-призрак с монашеским камнем на пальце...

– Это аквамарин.

Да?.. А он думал, что это сапфир.

– Так всё дело в сапфире? – рассмеялась она.

Да. То есть нет. Конечно же нет. Впрочем, это неважно.

Она улыбнулась:

– А что было там – в той комнате, у камина?

– Ничего не было, – ответил он.

– А всё же?

Он усмехнулся, потушил сигарету.

– Ничего не было, – повторил он. – Абсолютно ничего. Не обижайся. Ты обиделась?

Она? Нет. Разумеется, нет.

– Мы квиты, – сказала она.

– Да, – согласился он. – Прости. Как-нибудь потом...

– Что с тобой происходит? – спросила дома жена.

Всё вернулось к исходной точке, сведя всё на нет, и поэтому он ответил: ничего, а что?

– А помнишь ту девушку? – вдруг спросила жена. – У Вознесенских?..

Чёрт знает что, подумал он и ответил:

– Какую девушку? Там было много всяких девушек...

– Ну не надо... – с досадой сказала жена. – Ты же всё понимаешь – какую девушку...

Он вздохнул:

– У меня был тяжёлый день...

– ...и у меня такое странное чувство...

– Опять?! – поморщился он.

– ...будто чувство вины...

– О чём ты? – удивился он.

– О том, что всё это время я ревновала тебя к ней, – сказала жена. – А... её давно уже нет.

Он ждал, но жена молчала.

– В смысле? – не выдержал он. – А где она?

– Погибла. В аварии. Давно, но я только сегодня узнала об этом.

Значит, вот оно как.

Погибла девушка...

Та самая девушка...

Какая-то девушка...

Он даже не знал её имени!.. Но зачем-то – зачем? – дух её повитал над ним, пошутил, поиграл в чехарду...

Он взглянул на жену.

– Что? – оглянулась жена.

Какая странная история, подумал он.

– Какая странная история, – сказала жена.

И он вдруг понял: да, да, конечно, это была и её история!.. А может, и только её?.. Женщины всегда в сговоре с духами и привидениями, не желающими покидать этот мир, полный тайн, человеческих слабостей, недоразумений, ошибок...

Он обнял жену, и это совпало с её д в и ж е н и е м к нему...

...А в доме у Вознесенских всё было как всегда – много свечей и гостей, спешащих сменить друг друга, как та заря, вымысла и потаённых дверок, которые, как в детстве, хотелось приоткрыть... Он приоткрыл: почему нет? Вошёл.

...Она сидела у камина, в объятиях белой шали, и листала журнал – точно так же, как будто не вставала с места всё это время! – и на пальце её разгорался и гас синий камень.

Он опустился в кресло напротив, закурил. Она подняла глаза, взгляделась, что-то припоминая, припомнила («опять этот тип со своим рассказом!»), улыбнулась, кивнула.

Он не ответил.

– Что с вами? – удивилась она.

Он молчал. Он вообще был из породы молчунов. И она взглянула на него с интересом, неожиданно для себя вдруг сказав:

– Вы, кажется, в прошлый раз так и не досказали мне свою историю...

– Это была плохая история.

«А он не безнадёжен», – подумала она.

– Ну почему же... Забавная история.

– Забавная история... – повторил он. – Сидит себе девушка, листает от скуки журнал... а вокруг разгораются страсти – целый роман, где любовь, смерть, восхождение... А она сидит и листает журнал.

Он замолчал.

– Всё? – спросила она.

– Всё, – ответил он.

– Недолго сегодня, – улыбнулась она.

– Я плохой рассказчик.

– А мне понравилось, – возразила она, разглядывая его. – Это вы сочинили?

– Нет, – ответил он. – Это сочинила моя жена.

– Вот как?

– Именно так. – Он погасил сигарету и встал. – Не буду мешать: вам идёт одиночество.

У двери оглянулся:

- А вы правда не привидение?
- Я так плохо выгляжу? – усмехнулась она.
- Нет, напротив, выглядите вы хорошо. Как живая.
- Это смешно? – спросила она.
- Это глупо, – согласился он. – Простите.

И вышел.

А она подумала: жаль...

И вернув на колени журнал, полистала, нашла страницу и снова подумала: жаль...

ЭТАЖЕРКА

Это было, конечно, ошибкой – тащить её за собой в свою новую жизнь. В доме старинных и строгих вещей она везде была не к месту, некстати, глядела хмуро, исподлобья, дичась и выказывая дурные манеры.

Её ставили вдоль, поперёк, прилаживая то к столу, то к стене, но всё было тщетно: она везде оставалась чужой в этом доме – доме изысканных и утончённых вещей, удивлённо и свысока поглядывающих на этот китч – странную прихоть их новой хозяйки.

Да уж, никак не скажешь, что происходила она из старинного знатного рода. Куплена она была у Ады, собиравшейся в далёкие жаркие страны, и Ада сказала тогда: двадцать. Соня на радостях ответила: двадцать пять! Потому что у Сони всего было двадцать пять, и она страшно волновалась, что ей не хватит. Но Ада сказала: двадцать. И это было такое счастье, что Соня ответила честно: двадцать пять. Вообще она именно так покупала вещи. Хотя, строго говоря, у неё не было вещей. И даже дома не было. Они снимали с мужем квартиру близ Таврического сада, где тоже ничего не было – только сад в окне, жёлтые шторы на окнах, чистый пол, чистые листы бумаги, и даже запах кофе был из чужого окна.

Но Соне без надобности были вещи, она не умела ценить их красоту и изящество форм, потому что у неё было внутреннее зрение и она видела только сны. Соня ничего не скопила за жизнь – только сны, чувства (о, мно-ого чувств!), а теперь у неё была ещё и этажерка! Жизнь – полная чаша.

Зачем она понадобилась ей – вот загадка. Может, ей что-то приснилось. Снов было много, и нужно было их где-то хранить. А на этажерке было много полочек, очень удобно. Мастерил её какой-то столяр («Он всем делал мебель в Череповце!» – с уважением сказала Ада), и, вполне возможно, что эта этажерка была даже его творческой удачей. Тем не менее истинный ценитель нашел бы её достаточно нелепой и был бы тысячу раз прав! Она действительно была нелепа, надо отдать ей должное, не отличаясь ни грацией, ни правильностью форм, но...

Но была в ней какая-то щемящая старомодность – как в старинных раскрашенных открытках из серии «люби меня как я тебя», какая-то трогательная не-правильность – как в детских стихах с грамматическими ошибками.

Итак, Ада сказала тогда: двадцать. Соня ответила: двадцать пять! «Вот дура!» – подивилась Ада. А этажерка, услышав завышенную цену, даже скрипнула от удовольствия: а она умеет ценить прекрасное! – похвалила новую хозяйку этажерка и тут же радостно перебралась в новый дом.

Расположилась она по-царски – в центре квартиры, забавно превратив их одну комнату в две, и сразу же, не лишённая женского кокетства, обвесилась с головы до пят хозяйскими украшениями – бусами, цепочками, браслетами и прочей мишурой. На верхнюю полку была водружена корзина из виноградной лозы с шорохом прошлогодних листьев и воспоминаний – получилась корона. И не просто корона, а – как подобает! – царская, украшенная рубинами волчьих ягод, жемчужными ракушками дикой софоры, кораллами брусники и золотыми шишечками колдовского хмеля. «Удачная покупка!» – одобрил муж. И этажерка, просияв, тут же усталилась невесть откуда взявшимися чудаковатыми вазочками, хитроумными корягами и... чешскими чашечками, которые они тогда не купили в Брно, но всё время о них вспоминали и жалели, что не купили, и теперь представляли, как красиво они смотрелись бы здесь, на третьей полке!..

Собственно, в эти чашечки они влюбились сразу, увидав их в магазине, но так просто взять и купить они не посмели, а пошли в гостиницу, чтобы о них помечтать. Намечтавшись, они, конечно, вернулись, но чашечек – и х чашечек! – уже не было: кто-то взял и купил их, не мечтая даже.

Боль утраты была велика, и они каждый день стали забегать в этот магазин в упрямой надежде, что появятся другие чашечки, точно такие же или хотя бы похожие; им даже стали сочувствовать в этом магазине, проворонившим своё счастье, – но!.. Таких чашечек больше не было – конечно же не было! – и быть не могло: они были единственными. Время затуманило их образ, но от этого они казались ещё прекрасней и желанней, и теперь им было отведено на этажерке почётное место. Там же, не затеняя собой друг друга, уместились и другие их мечты и утраты – коробочки с пёстрыми фантиками, альбомы с марками, детские копилки... Постепенно их мечты и утраты захламили все полки, оставаясь при этом совершенно прозрачными, не отбрасывающими даже лёгкой тени...

– Какой красивый у вас дом! – говорили гости, замороженно глядя на их этажерку, дивясь и не осязая простым зрением тайны этой красоты.

...А потом, когда её поманили за собой другие сны, он поступил правильно, не взяв с собой ничего из их общих вещей.

– Зачем? – сказал он. – Всё это само по себе не имеет значения. Да и не существует вовсе.

А она поступила неправильно: она зачем-то взяла с собой в новую жизнь эту старую этажерку с шорохом прошлогодних листьев, погасшими рубинами волчьих ягод и чешскими чашечками, которые они тогда не купили в Брно.

Теперь в том доме с жёлтыми шторами живут два красивых африканца в толстых свитерах, стряхивают пепел в кокосовые чашечки и мёрзнут на лютой жаре чужой широты...

Итак, они снова поставили её к стене. Украсили дорогими старинными вазами, желая ублажить, подкупить, польстить, но она, неблагодарная, упрямылась, глядела враждебно и демонстративно изображала из себя полки в комиссионном магазине. Тогда они вернули её к столу, придавили книгами, журналами, каталогами – и она развалилась, решив им назло покончить с собой.

Они испугались, конечно, собрали её, склеили, покрасили, отполировали, но она глядела на них безжизненно, как вдова. Соня наедине пыталась увещевать её: но почему, почему?! – спрашивала Соня.

А где мои бусинки?! – обиженно глядела на неё этажерка. – Фантики? Чешские чашечки?..

Не знаю... – печалилась Соня.

Ты выбросила их?!

Ну что ты, как ты могла подумать!..

Но вещи ведь не исчезают сами по себе...

Конечно нет, но... куда же они тогда деваются – наши любимые куклы, цветные стёклышки, старые письма, – ведь только что были, где они?! Разве мы выбрасываем их?! У кого поднимется рука?! Нет, нет, они сами исчезают куда-то, когда приходит их час...

Наконец нового мужа Сони укачала вся эта возня – сколько можно?! Всему есть предел, эта каракатица и без того была насилием над его эстетическим вкусом! – и тогда он сказал, как Понтий Пилат: я умываю руки. И все его красивые вещи безмолвно одобрили его слова.

Что оставалось делать?

Лишь одно: взять эту этажерку, погрузить на себя и вернуться в тот дом с жёлтыми шторами, где живут красивые африканцы, выгнать этих красивых африканцев, поставить этажерку, сесть рядом и зарыдать.

Но всё это было нереально, конечно, а зарыдать можно было и здесь, не сходя с места. Соня так и поступила: села подле своей этажерки и зарыдала. Не мучай меня, сказала Соня, ты лучше меня, прости меня, отпусти меня...

И однажды этажерка исчезла. Как-то так, в суете ремонта и растасовке вещей.

Больше всех взволновался хозяин.

– Я чист! – уверял он Соню.

Соня кивала: она знала это.

– Но куда же она могла деться?! – недоумевал он. – Торчала, торчала тут – и на тебе! Как провалилась. Надо искать!..

– Не надо, – отвечала Соня.

Зачем?.. Она исчезла. Исчезла туда, куда исчезают все наши сны, грёзы, мечты о счастье, – туда, куда можно уйти, но откуда нельзя вернуться, не обеспокоив своими высокими тенями живых и невысоких...

А Соня спала, вещи красивого дома вели себя тихо, пристойно, часы на стене молчали – им велено было молчать, не беспокоя сны Сони, – время остановилось, ждало Соню... И однажды Соня проснулась.

Она встала, отдернула шторы, тронула рукой заждавшийся маятник – время ожило, радостно побежало вперёд, дом проснулся, поглядел на Соню – Соня бродила по комнате, рассеянно останавливаясь то у стола, то у стены, то снова возвращаясь к окну... Красивые вещи глядели на неё с любопытством: кривые её маршрута кого-то им напоминали... Соня, поймав их взгляд, рассмеялась. Вещи улыбнулись ей в ответ: а ты весёлая, сказали они. Соня кивнула, поправила на стене картину. И ты ни в чём не виновата! – сказали вещи. Соня промолчала, выглянула в окно – город провожал белые ночи...

Муж долго искал её, звонил знакомым, наводил справки и даже напугал своим внезапным появлением красивых африканцев, но все было тщетно: Соня исчезла. Это было непонятно, несправедливо, лишено логики и здравого смысла. Так говорили все. Он соглашался, но...

Может, не хватило каких-то слов? – думал он. А может, наоборот, какие-то слова были явно лишними, например: «уродина!» (это про этажерку). Или: «этажерка!» (это про Соню). А может?.. Всё может.

Потом улеглось. Не сразу, но улеглось. Жизнь вошла в колею. Лишь однажды...

Он проснулся от боя часов – им вторил стройный перезвон тонкого фарфора, едва уловимый, как грань сна и яви... Чей-то вздох, чей-то шорох мешался с шумом дождя – этот шум приближался, сгущался – он приподнялся ему навстречу, но, напуганный его движением, шум отпрянул, стал удаляться, всё быстрее и быстрее, вылетая в окно и сливаясь там навсегда с торопливым прощанием лета, убегающего и роняющего влопыхах самоцветы своих нарядов и оплакивающего свой уход последним коротким дождём...

ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЁРТЫЙ СЮЖЕТ

- Вот говорят, что существует всего лишь тридцать три сюжета...
- Ну.
- Столько книг на свете – и все они укладываются в тридцать три сюжета?!
- Но тебя же не удивляет, что вся музыка состоит из семи нот?
- Почему не удивляет? Очень даже удивляет. Но эти тридцать три сюжета – больше. Неужели всего тридцать три?! Что-то мне не верится... А кто посчитал?
- Умные люди.
- И никто не придумал тридцать четвёртого?!
- Нет. Может, ты займёшься?
- Вот я и думаю.
- Это правильно. В жизни так и бывает, что всё человечество твердит: нет! нет! этого не может быть! А находится какой-нибудь дурак, который говорит: а почему нет? И делает открытие.

Значит, такой вот сюжет.

Замечательный писатель и путешественник, человек с хорошим честным лицом и хорошими честными мыслями, написавший по-настоящему много хороших и честных книг, горячо любимых всей страной, был женат на певице, народной артистке (тоже с честным и хорошим лицом!), раскрасавице, чьим прекрасным душевным песням рукоплескала страна, души в них не чая.

Пресса тоже любила эту пару, регулярно публикуя снимки известной семьи: она всегда улыбочивая на фото, он же, напротив, хмурый, не улыбочивый, как если бы какая-то тайная мысль гнобила его, цедила душу, и книги такие же – жёсткие, рубившие правду-матку прямо в лицо (и именно за эту за правду-матку так любимые народом), – и вдруг! в один ужасный день! все читатели и зрители, все верные поклонники знаменитой пары благодаря этой проклятой гласности – мол, «народ хочет знать!» (а ничего такого народ не хотел, никакого волеизъявления

не было!), – и вдруг, значит, этот самый народ, любивший их за честность и прямоту, узнаёт о них, честных, бесчестную правду, получая этой правдой-маткой прямо под дых!

А именно: оказалось, что знаменитый писатель был двоеженец и по нём всю жизнь плакала тюрьма, все глаза выплакав (дело-то было подсудное!). Но главное было даже не в этом. А в том, что та первая и законная жена, оставшаяся ждать его в маленьком захолустном городке (Итаке), прождала его двадцать лет – без сына и без его возвращения, то есть без хорошего классического конца, так любого нам с детства.

Такой вот, значит, сюжет.

Между тем телевизор и пресса всю жизнь возвещали ей обо всех передвижениях на пути к славе её мужа-невозвращенца, о его женитьбе на сирене и родившихся у них сыновьях. В общем, средневековая пытка на медленном огне – о-очень медленном. Причём эта женщина сама не могла снова выйти замуж и родить детей – по той простой причине, что была замужем и все в маленьком городке Итаке это знали.

А женихи, между прочим, толпились, нелюбые, ряды не редели – а ничего, что нелюбые, всё равно ведь почётно было толпиться – «его, а не мужа Марьи Ивановны, считая своим соперником!» – и свет далёкой звезды писателя как бы падал и на них, грешных... И было приятно.

В общем, Итака гордилась им, но, гордясь, осуждала – такие вот сложные чувства, слишком сложные для захолустного городка, но, к чести сказать, никто не капнул куда следует, никто не заложил двоеженца, а мог бы (ради смеху, например), но народ не выдал, стерпел, сдюжил и собирался у телевизора – глядеть на его сирену («Баба как баба, наша-то по-всякому лучше будет!») – и был в обиде на него, заставившего их всех пожизненно страдать от этих сложных чувств, – а на кой ляд им это надо было, если жить и так тяжело?! И ждали...

А чего ждали? Хорошего конца? Не будет. Это к Гомеру.

А всё равно ждали. Вопреки и несмотря на. А как иначе? Надо же, чтобы как-то по-людски было, говорил народ. Приехал бы, прощения попросил, так, мол, и так, люди добрые, виноватый я. А так что же...

И возможно, так всё и было бы, и он имел это в виду, всё откладывая и волоча эту муку, – но, может, именно эта боль, этот тайный нерв и были его источником вдохновения, и много вкладывал он между строк – для той, первой и верной, но... страшно далёк он был от города Итаки, другая жизнь и другие законы полонили его, хотя и бегал он (люди видели!) с корабельным топориком за народной артисткой, которая, видать, нет-нет да и мерещилась ему с пьяных глаз коварной сиреной...

Много на свете дорог, уводящих от истины, сказывал древний мудрец, и только одна ведёт человека к ней... И не то чтобы наш герой не ведал о том – ведал, конечно, и не раз, быть может, его корабль держал курс на Итаку, но...

Песня летела следом, песня неслась в погоню, песня звала странника, возвращая назад... (Хорошо пела, зараза!)

О смерти Одиссея мы ничего не знаем, а значит, вполне возможно, что он жив до сих пор. А вот писатель умер, так и не вернувшись в Итаку.

А вот почему он умер, причем аккуратно через двадцать лет, под суд земной не попав, а поспешая на суд Божий (а уж Там разберутся!)...

Как большой писатель, он должен был тонко чувствовать эту связь с сюжетом, этот виток спирали, эту нить Ариадны, но он не выполнил своего предназначения, не осилил земных страстей и тем испортил классический сюжет – и Он (главный Мастер сюжетов) не простил, видимо, и призвал к ответу.

И выходит, что самый главный рассказ герой не написал. Жизнь за него написала. Отдыхай, писатель, парадоксов друг.

Большая литература отличается от большой жизни, как аромат названия фильма Бергмана «Дождь над нашей любовью» от аромата борща в алюминиевой кастрюле. Как художественная шизофрения от бытовой. В книгах всё законченно, цельно, стройно, сюжетные ходы не провисают под тяжестью мыслей автора, а в жизни – сплошные разломы, бесформенные груды и порванные провода – «стой, убьёт!».

Другая же жена его, народная артистка, всю жизнь снимавшаяся для прессы в окружении своих детей, двух бравых сыновей, тоже ошарашила поклонников своего таланта.

Выяснилось, что у неё был ещё один сын, очень похожий на неё, как клонированный, но – ненужный, лишний, от первого брака, оставленный ею в годовалом возрасте, выросший без материнского глаза и любви и видевший свою маму только в телевизоре («а это твоя мама, детка!»), а впоследствии запивший от такой жизни и даже посидевший немного в тюрьме – в общем, плохой мальчик, неудачный, след которого затерялся...

Спрашивается: а зачем ей этот плохой мальчик, если есть два хороших? Будет ли это эффектно смотреться на снимке? Нет. Он только кадр испортит своим испитым лицом и всей этой ужасной правдой.

Да, такая вот ужасная правда.

А другой правды у вас нет?

Нет.

Хотя...

Разве что эта женщина, жена его первая... Но мы ничего не знаем о ней: человек непубличный, замкнутый, о себе широко не возвестивший – как лепить образ? из чего? Разве что методом отрицания. А именно: не поехала, не устроила, не подала, не предала, не вышла, не родила... Всё. А что осталось-то?

Хрупкий стан, молчание, улыбка... Да царская коса короной вокруг головы. И ожидание длиною в двадцать лет. Мало?!

...Она прожила свою жизнь одна – всегда на виду, на слуху, на публике, любимой героиней людских пересудов, мучительных сочувствий и любопытств, с чудесными книгами писателя (в которых, быть может, и искала тайный знак, намёк, послание ей!), с его пожизненным предательством и своей болью, которая оказалась вернее верного друга.

Вот такой сюжет. Нет?.. Не сюжет? А что это?!

Да пёс его знает... Ни конца, ни морали, ни торжества справедливости!..

Это правда: вместо конца – какая-то брешь, дыра, куда всё проваливается – и мысли автора, и мораль, и то самое торжество справедливости, которой на свете нет (это ж ясно!), но тяга-то к ней есть – такая вот древняя слабость людского

рода из серии вредных привычек. И без этого и рассказ не рассказ, и сюжет не сюжет: законы литературы строги.

...А народ Итаки простил писателя: выпил, крякнул, помянув усопшего, – и принёс вдове соболезнования: всё не так уж плохо, окосев, рассуждал народ, ну по-всякому лучше будет, чем у супруги Маноле, которую муж в стене замуровал – чтобы храм крепче стоял. Живьём замуровал, прости господи! – и то ничего. Люди даже песни сложили. А тут!.. подумаешь.

(Да и предательства, касающиеся женщин, между нами, настоящими мужиками, говоря, и предательствами-то не считаются, верно ведь?)

...А народная артистка, сладкоголосая, ещё не раз побывала замужем, то есть ещё много странствующих и путешествующих, прельстясь зазывной песней сирены, свернули, быть может, с истинного пути, но...

Но не она украсила сюжет Мастера – а та, которая с короной.

А при чём тут тридцать четвёртый сюжет?!

А при том, что его нет. Открытия не будет.

Потому что тридцать четвёртый сюжет – это сама жизнь. Это правда, которая никому не нужна – ни людям (она неприятна), ни искусству (она не художественна).

Нет, возможно, она прекрасна (погресим!) и даже имеет смысл (допустим!) – но откуда ж нам всё это знать? Ведь видна она только Сверху...

А Сверху видать её только Мастеру.

Это Его сюжет.

Валентина
ЛЕЛИНА

СТИХИ

КОГДА ЗАЦВЕТУТ ФИАЛКИ...

* * *

Бывает оправдание иногда
Тем помыслам, которым нет названья.

Сомнения, благие упования –
Все отступило, все ушло, когда
Сном наполнялась комната, черта
Той глубины, где нет уже предела,
Была достигнута. Слегка редела,
Предметы обозначив, темнота.
Входили в подсознание без труда
Окно, два зеркала, букет сирени...
И женщина стояла на коленях,
А с неба тихо падала вода
На плечи и по волосам текла,
И волосы стекали в таз меж пальцев;
И ночь была натянута на пальцы,
И вышивала тонкая игла
Склоненную фигуру. Зеркала
Вспотевшие никак не отражали,
Но там, где капли на стекле дрожали,
Вдруг проступили контуры стола,
Пять роз в тазу фаянсовом, ключи...
Сон отступал, но связывал навечно
Судьбу в ее движении конечном
И таинство мытья волос в ночи.

* * *

Первый раз нам ангел в Павловске явился.
Заслонясь крылом, отдернул занавески
на окне,
и солнца луч разбился
об улыбку Афродиты.
Этой фрески
нет нигде. Но так всегда знакомо
лето в Павловске, Славянка, ангел
на стене заброшенного дома.
Где наш дом...

• **Валентина Лелина** – петербургский поэт и эссеист, член Союза писателей Санкт-Петербурга, автор поэтических книг «Ленинградские острова» (1990), «Над судьбой» (1993), «Овал» (1997), «В трех зеркалах» (2000), «Поздние гости» (2003) и книг эссеистической прозы «В пространстве Петербурга» (1997), «Мой Петербург» (1998, 1999), сказки «Петербургская история» (1999). Стихи, эссе публиковались во многих отечественных и зарубежных журналах.

ПРОЩАНИЕ С ПАВЛОВСКОМ

1.

Не о том, что было верно
И неверно, не о том,
Как по улице Галерной
Мы зашли в последний дом.
Как в окно стучали клены
Ветками, и как одна
Все хотела быть зеленой,
Желтизной поражена,
Первым осени дыханьем,
Ветром с Запада морским...
Никаким воспоминаньям
Я не верю, никаким.
Потому что жизнь мгновенна,
Как часов полночный бой.
В Павловске благословенном
Мы останемся с тобой.

2.

Я тебя оставляю. Я так оставляю тебя,
Точно облако тает, и небо светлеет, светлеет...
И нахлынет сирень, и, душистую ветвь тебе,
Ты пройдешь через Павловск по вечно зеленой аллее.
И, опомнившись, лето качнется во времени вспять;
Что казалось забытым – предаст наши души волненью.
Я совсем не об этом хотела тебе написать,
Но опять Афродита с Гермесом летят над сиренью.

* * *

Все тот же неба цвет, и непогода
всегда присутствует, и время года
неясно. И уже не снятся мне
ни в изумрудных зарослях дорога,
ни аист, циркулем стоявший у порога,
и ни дыханье дюны в вышине.

Все там осталось в шуме волн и в пене,
и в гроздьях отцветающей сирени,
и лебеди летели по утру,
как рыбаков, пропавших в море, души...
О чем-то аист думал, что-то слушал.
Я там была. Я думала, умру.

Все корабли уснули у причала,
по рельсам электричка отстучала,
и как зима, душа моя бела.
И только ангел все меня тревожит
своим крылом невидимым и тоже
мне шепчет, что я там была, была...

* * *

Слышишь, нелюбимый, белая ночь настагает нас...

Н. Перевезенцева

... А нас с тобой никогда не настигнет белая ночь,
Потому что всю свою жизнь ты живешь за ее пределами.
Не границы нас разделяют, не кровь, не ложь,
не любовь, что бы мы с тобою ни делали.

Но нелюбимым не был ты никогда.
Все сто лет моей жизни ты был любимым.
И только одна белая ночь, как слово «да»,
Нам с тобой не досталась –

осталась

И рифмуется с «непоправимым».

* * *

Я приеду к тебе, когда зацветут фиалки
на холмах и в предместье.

И будет не жалко

собирать их в корзины, разбрасывать и обниматься
на фиалковом ложе небесном.

И так может стать,

что вернется к нам молодость, крылья,

и мы полетим над сиренью,

над несбывшейся жизнью, над странностями повторенья
всех раздоров, разлук и обид,

потому и глубоких, что кровных.

Может быть, нам простится все то,

в чем мы были виновны,

мир вернется к началу, где тлеет огонь сотворенья...

Я приеду к тебе и закончу стихотворенье.

ДЕТИ НИОБЕИ

Старая Сильвия. Павловск

Скульптурная группа бежит напрямки,
Сюжет угадаешь едва ли,
Так малые дети играют в снежки
В хитонах, сандалях.

Вот кто-то идёт, и фигуры замрут,
Как будто нет дела,
Пока неожиданно вслед не швырнут
Снежок – «раффаэлло».

Зимы настоящей мы ждали давно.
Нигде так не любят ордалий,
А всё потому, что в России вино,
Как в Греции, не разбавляли.

Пускай самогонка, но градус – табу,
Поэтому и разыгрались.
Спит Лета, забывшись в хрустальном гробу,
Мы тоже в снегу извалялись.

Что элину – гибель, для нас – хорошо,
Давай свои быстрые санки!
От русской забавы никто не ушёл.
Что дальше? Медведи? Цыганки?

* * *

Убили Ганди, а не Сталина,
Не Гитлера. Какая сила
Неведомая их заставила,
Настигла и курок спустила?
Пусть лектор в мировой истории
Отыщет веские причины,
Я всё равно бы с ним поспорила,
Ну хоть как женщина с мужчиной...
Убили Ганди, а не Сталина,
Тем очевидней и вернее
Они ещё раз доказали нам:
Добро – сильнее.

• **Татьяна Семенова** – петербургский поэт. Автор поэтической книги «Автограф». Публиковалась во многих литературных сборниках и журналах. Руководила литературной мастерской «Петровский остров». Член Союза писателей Санкт-Петербурга.

* * *

Электричество есть, а счастья всё нет,
Может, его отключить?

Ильф и Петров

Помнишь, на даче пел соловей.
Утро, четыре часа.
Свет отключили, веет с ветвей,
И голоса, голоса...

Белые ночи. Светло, как днём,
Чинят разрыв в цепи,
Кто-то в колодце гремит ведром,
Словно никто не спит.

Нам повезло, и, найдя трофей,
Окна и двери открыв,
Мы на «Спидоле» ловим «Орфей»,
А соловей – в отрыв...

Он конкурента сразу узнал,
В штопор вошёл и в раж
И забабахал такой финал:
Трепет, восторг, кураж!

Стая замолкла, и лишь иногда
В самых крутых местах
С дальних берёз долетало сюда
Тихое «Ох!» и «Ах!».

Звуки природы, неясный зов,
Видно, таков удел.
Стало понятно без лишних слов –
Классика не предел!

Только, когда подключили свет,
Телик мигнул в углу,
Вдруг понимаю, что счастья нет –
Кто-то врубил пилу...

* * *

Раньше боги ходили среди людей,
По дороге на форум, в толчее площадей,
Но сменилась цивилизация,
Стало проще не быть, а казаться.

Человечество вечно ищет отца.
Не героя античного, не мудреца.

Наши страхи сильнее веры.
Что поделатъ – дитя биосферы.

И тогда появляется смелый бомбист –
Блудный сын, недоученный семинарист.
Это – лидер. Легко догадаться
По бескрайнему морю овец.

Ну, а мы получили крушение идей,
И не то что богов – не хватает людей.
На изломе двадцатого века
Днём с огнём не найти человека.

КУКУШКА

Тепловозик цепляет вагоны к чужим составам,
И за это прозвали его Кукушкой,
Только он не боится сомнительной славы
– Кто же будет работать? Пушкин?

На фоне Р-200 он кажется странным подростком,
Так можно сравнить кахетинца с приземистым пони.
Никто не заметит кукушкины слёзки
На лунном ландшафте промышленной зоны.

Да что он здесь видел, ведь Мурино – не Мурано:
Песчаные горы, бетонные норы и скуку.
Тихонечко всхлипнет, и, что удивительно странно,
Где-то в Ручьях отвечают пронзительным звуком...

Народ просыпался от шума на улице Лужской,
Ночные проклятья неслись в «матюгальник»,
Метались на станции – где же Кукушка?
Разводит руками дежурный начальник.

А он, оторвавшись уже от погони,
Стоит в тупике со своею подружкой –
Такой же нелепой, как маленький пони,
И многие лета кукует кукушка...

Одному деятельному священнику, отцу Филиппу Быкову, дали приход в центре столичного города. До революции там располагалось подворье большого провинциального женского монастыря. Монастырь разогнали, а в сороковые годы уничтожили окончательно: затопили водохранилищем, вместе с соседними деревушками. Старинное здание в стиле «ярославских палат» с кокошниками на окнах осталось единственной видимой частью погребенной на морском дне обители.

Отец Филипп взялся за дело горячо. Был он молод, амбициозен, хорошо образован, мечтал обрести свой стиль и паству. Он точно знал: пришло его время. Красивое здание с богатым прошлым, расположенное в центре города, давало возможность реализоваться смелым планам. Вокруг симпатичного, умного и ласкового священника, как у нас на святой Руси водится, моментально собралась стайка обездоленных одиноких женщин. Ядро прихода составляли филологи – эксцентричные богоискательницы. Были еще две-три разведенные инженерши, Алина – владелица кафе (она очень хотела снова выйти замуж и много жертвовала на храм), и так, по мелочи, – несколько старушонок из соседних домов, на которых держались трапезы и уборка.

Отец Филипп, отлично начитанный провинциал, приехавший покорять столицу, отнесся к своей пастырской миссии творчески: для начала установил на приходе церковную жизнь по Уставу времен Ивана Грозного. Строго держали посты (в первую седмицу Великого Поста, например, не ели ничего до пятницы), пели только знаменное или византийское, истово исповедовались по часу, а то и по несколько часов, жили строго по его благословию. Большинство постоянных прихожан причащалось минимум раз в неделю.

Завесу над Царскими вратами называли по науке – катапетасмой (включая свечницу, бывшую крановщицу на пенсии), все были в курсе, что такое солея, а также, что партесное пение не «богодуховенно». Только крюки вмещали высокие духовные интенции настоятеля.

Маленькая община жила дружно: вместе возрождали загубленную в советское время архитектуру, таскали кирпичи мешками. Алина, глядя на горящие очи и хлипкие бедра филологинь, заметила батюшке, мол, куда им мешки такие поднимать? Им же рожать еще. Отец Филипп тонко улыбнулся:

• **Екатерина Федорова** родилась в Ленинграде в 1976 г. Окончила филфак Санкт-Петербургского государственного университета имени А. И. Герцена. Сотрудничала с различными петербургскими издательствами. В 2011–2013 гг. изучала греческую и итальянскую филологию в Афинском университете имени Каподистрии. Живет в Афинах (Греция).

«Но не могу же я им запретить». Алина села в машину, поехала в казармы и привезла роту солдат, которые за пять минут раскидали завалы битых камней, кусков бетона и арматуры.

Правда была в том, что прихожане маленького храма действительно горели искренним желанием таскать эти блоки. Азарт всех охватывал неопиcуемый. Иконы мироточили, приходили новые люди, возвращались на место «родные» храмовые кресты, мощевики.

Настоятель решил отслужить 40 литургий подряд, чтобы закрепить успех, призвать благословение живших здесь когда-то монахинь, нащупать новые пути, по которым предстояло идти вперед. Дело это было нешуточное, в духовном смысле даже дерзкое, но отец Филипп уже взял разгон.

Здесь с небольшим опозданием появляются, наконец, главные героини нашей истории. Это матушка Юлия – супруга Филиппа, родившая ему двоих детей, и Инга, девушка-филолог, из хорошей еврейской семьи, уверовавшая во Христа со всей силой своего пылкого темперамента. Инга, крестившись, рассуждала примерно так: «Что там в Православии самое престижное-крутое? Попасть в рай. Следовательно, я должна добиться этого и стать святой».

Да, все началось с того, что отец Филипп отслужил 40 литургий подряд без единого дня перерыва. Инга каждое утро сослужила ему: пела одна-одинешенька на клиросе. Будущая святая не жалела ни усилий, ни времени для благого дела. Эпизод выглядел красиво, хоть сейчас вставляй в житие.

Матушка, которой остро хотелось разделить с мужем поворотное начало важного дела, сидела дома с детьми.

Чисто технические обстоятельства (младшей дочке только исполнилось два года, а старший сын-подросток требовал много внимания) сделали ее изгоем.

Мы работали, выстаивали длинные литургии и всенощные, ездили в паломничества, сидели в архивах, разыскивая материалы по истории монастыря и смущая архивариусов нелепыми платочками на голове (носить их было благословением батюшки), а матушка, которая так много знала, так много могла и умела, оказалась невостребованной.

Ее законное место рядом с батюшкой постепенно занимала Инга. Она слепо подчинялась любому слову своего наставника, никогда не противоречила, деликатно подсказывала трудные решения, искусно делая вид, что это батюшка сам придумал. Безоговорочно отдавала все свое свободное время и все свои ресурсы в его распоряжение. Да что там говорить! Она была в него влюблена.

Чисто, хорошо, первым весенним свежим чувством. Допускаю, что вытеснение матушки на первых порах выходило у Инги бессознательно. Отсутствие секса развязывало им руки и катализировало духовное сближение. Эта маленькая деталь не только освобождала их от мук совести, но и позволяла с брезгливостью поглядывать на совокупляющихся остальных, не имеющих характера, чтобы преодолеть грех.

Отец Филипп очевидно блаженствовал. Матушка, при всех ее достоинствах, обладала сильной волей, своим особенным мнением по любому вопросу, а главное – четко блюла интересы семьи, которые не всегда совпадали с его духовными инициативами. Матушке упрямо хотелось, чтобы батюшка чаще бывал дома, обнимал ее, хвалил ее борщ. Она позволяла себе настаивать, полагая это своим правом. И уж тем более – после стольких лет совместной жизни, ей и в голову не приходило лицемерить, изображая батюшку автором путеводных решений.

Но чем логичнее звучали доводы о супружеских обязанностях, тем менее, увы, хотелось батюшке их выполнять. Он жаждал полностью отдаться служению Богу, возродить монастырь, а не тратить драгоценные силы на бытовые мелочи вроде новой обуви для детей.

Тема борща особенно напрягала батюшку. Отец Филипп после 40 литургий чувствовал себя на прямой линии с Христом, а тут такая проза. Молитвы усилились, сон сократился до 3–4 часов в сутки. Борщ был побежден.

Напряжение нарастало с обеих сторон. Матушка, горячая натура, родом из кубанских казаков, собрав остатки выдержки, молчала, еще не понимая, впрочем, что муж от нее уходит.

Инга тем временем уже вполне осознанно играла роль правой руки батюшки: если кто-то хотел его увидеть, надо было прежде спросить у нее разрешения, она отвечала на его мобильный, изгнала конкуренток-певчих с клироса, чтобы тет-а-тет служить литургию – ангельское удовольствие!

Она похорошела, поправилась, черная одежда, которую она носила по настоянию отца Филиппа, украшала ее бледное лицо. Маленькие ее глазки сверкали от удовольствия.

Батюшка, беспомощный в житейских вопросах (раньше ими занималась матушка), не принимал без Инги ни одного решения.

Нашлись тут же подхалимы, которые, разгадав интригу, не упускали случая подольстить Инге. «Может, подождем Ингочку?» – подлизывалась какая-нибудь восторженная дама, гордая своим умением разобраться в интимной субординации подворья. «Не сядем же мы без нашей девочки обедать! Ведь она скоро придет?» – спрашивала она батюшку.

– Придет, – усмехался в бороду Филипп. – Придет, если ее ГАИ не остановит. За превышение скорости!

Соль шутки заключалась в том, что Инга бежала бегом, стрелой летела на подворье с работы, чтобы не потерять ни минуты от общения с духовником. Матушку доконал переезд мужа на подворье. Она пришла в храм, чтобы поговорить с Ингой начистоту. Как же так? Девчонка посмела встать между мужем и женой! Дрожа от волнения, матушка Юлия спросила ее: «Инга, а тебе мои детки по ночам не снятся? Ты же отца у них забрала». Девушка хладнокровно выдержала матушкин мятущийся взгляд и спокойно ответила по существу: «Нет, не снятся».

У матушки в правой руке выросла шашка наголо, но она сдержалась и только плюнула в лицо разлучнице. Резко повернулась, так, что ее толстая коса громко стукнула по косяку, и вышла вон. Инга, ни секунды не медля, пожаловалась батюшке, и матушке «не было благословлено больше приходить на подворье».

Матушка выла дома в отчаянии. Своих денег у нее не было. Диссертацию она оставила ради карьеры отца Филиппа. Никогда нигде не работала, верно служила мужу много лет. Двоих детей родила, одного похоронила, младенца Степана, и вот она – награда за преданность. Одиночество на старости лет. За что?

Новоявленная соломенная вдова сделала еще одну попытку вернуть мужа. Она пожаловалась матери Инги (высокопоставленной начальнице в Комитете образования), но ответ получила неожиданный. Чиновница объяснила Юлии, что в данный период времени впервые видит своего ребенка абсолютно довольным жизнью и сметет с лица земли всякого, кто посмеет помешать ее счастью. «У вас же дети хотят получить высшее образование, – заявила она матушке без обиняков. – «Ну вот и решайте сами, что делать, от вас зависит их судьба, могу так устроить, что они и в железнодорожный не поступят».

В общем, матушка выпила чашу до дна. Извинилась перед Ингой, потому что иначе муж отказывался ее видеть.

Потом кто-то нашел дневник батюшкиной фаворитки, и доброжелатели передали его матушке. Ой, что было. Каждое слово ножом резало ее пострадавшее сердце. «Вы кафолик Христа», – заходила в эмоциях Инга, обращаясь к отцу Филиппу.

«Вы словно св. Иоанн Кронштадтский, и это не только портретное сходство... Я молюсь, чтобы стать Вам, как игуменья Ангелина, благословите».

Матушка Юлия проглотила обиду и ревность. Наступила на горло своим страстям. Заказала столик в ресторане «Кухня Молоховец», приурочила свидание к юбилейной дате их венчания. Пригласила батюшку. Выпили вдвоем бутылку шампанского, вспомнили былое, хорошее. Как когда-то они сочиняли вместе стихи.

В моей руке твоя рука,
И ты меня ласкаешь взглядом.
В моей судьбе твоя судьба.
Навечно мы с тобою рядом...

Как священник, который их венчал, называл всех людей тварями, не ругательно, а в качестве богословского термина – божья тварь. Посмеялись. Но затем разговор сменил и тему, и тональность. Матушка преклонила мысленно колена, помолилась и пошла ва-банк. Заплакала и попросила мужа вернуться.

«Одумайся, милый, пошли домой. Дети ждут. Ведь подумай только, что ты делаешь, голубчик. Зачем ты отдаешь ей свое грязное белье? Скажи, о чем должна думать девица, стирая твои трусы?»

Отец Филипп пожал плечами, встал и ушел на подворье.

Вот и вся история. Матушка потом, в сердцах, грозилась извергнуть мучителя из сана (достаточно было одной ее жалобы в епархию), но делать этого не стала: поняла, что сломав его жизнь, погубит и свою. Живет жизнью обычной покинутой женщины, нашла работу. С потерей статуса утратила былую масштабность духа, как будто великодушие по отношению к отцу Филиппу исчерпало ее лимит добрых дел. Нет, она не стала злодейкой, упаси Бог. Но ее заметно разъедает коррозия мелких пороков, свойственных всем нам, смертным, – раздражительность, зависть, сплетни и интриги, в которых раньше она замечена не была. Обнажились, короче говоря, слабости.

Отец Филипп реализовал мечту, стал известным пастырем, ведет передачи на радио, бывает и на телевидении. Народ валом валит в храм. Восстановление монастыря идет с размахом. Состав общины давно поменялся, из старичков никого не осталось. Алина, кстати, вышла замуж. Инга?

Недавно моя тетка была по делам в центре и по пути заскочила в наш храм поставить свечку. Мама, рассказывая мне об этом, обронила: «Представляешь, она видела Ингу».

«А как ты поняла, что это она, – спрашиваю. – Тетя ведь ее в лицо не знает».

«А я по описанию, – отвечает мама. – Невозможно ошибиться. Вышла, говорит, жена священника, толстая, вся в черном, глазки маленькие. На ногах кеды. Свечу продала ей за 200 рублей, нет, ты представляешь? Конечно, это Инга, какое еще может быть сомнение».

КАРТИНА

В Никольском храме древнего Изборска
Картина есть. Иконою назвать
Её едва ли можно: змей огромный
Среди багряно-дымных языков
Бушующего пламени разлётся,
Свиваясь в кольца и разинув пасть.
По телу змея, словно по дороге,
Влачатся к пасти грешники: цари
В роскошных багряницах вперемешку
Со скрюченной и злобной нищетой,
Разбойники, купцы, прелюбодеи,
Транжиры, игроки и гордецы,
Лжецы, чревоугодники, блудницы,
Блестящие придворные, скупцы,
Жестокие воители в доспехах,
Архиереи в митрах... И у всех
Отчаянье на лицах и покорность.
И каждый одинок и обречён
В потоке бесконечном, непрерывном
И безнадежном. А со всех сторон
Несчастных окружает нечисть: бесы
С бичами и трезубцами. Они
Бодры, неумолимы, мускулисты.
Напоминают лагерный конвой –
Собак и автоматов не хватает
Для сходства абсолютнейшего. В той
Наивной аллегории всё ясно
И канонично, в общем-то, вполне.
Когда бы не деталь: одна из грешниц
Споткнулась, обессилев. На неё
Бичом конвойный тут же замахнулся.
Локтём закрыла женщина лицо,
Пытаясь защититься от удара
И скорчилась. Нет в этом ничего
Необычайного. Но вот мужчина,
Идущий рядом... Крепко обхватив
Одной рукой несчастную за плечи
И наготу её прикрыв плащом,

- **Антон Погребняк** родился в 1978 г. в Ленинграде. Окончил Технический университет (Политех) в 2001 г., Кино и Телевидения в 2005 г. Участник ЛИТО Г. С. Гампер. Публиковался в сборниках различных литобъединений, альманахе «Второй Петербург», сборнике «Неизвестный Петербург», в журналах «Нева», «Вокзал». Автор книги «Патриции» (2011).

Другой рукой он резко замахнулся
На беса. На охранника! Лицо
Его сурово, даже тени страха
На нём не отражается. Глаза
Глядят упорно, гневно прямо в харю
Бесовскую. И кажется, что тот
Слегка растерян от сопротивления
Нежданного... Но что хотел сказать,
Что показать хотел безвестный мастер,
Нарушивший канон?

А может быть,
К Всевышнему воззвал он дерзновенно,
Моля приговорённым даровать
Надежду на спасенье?..

В самом деле –
Прошедший человеческим путём,
Сполна познавший все его тревоги,
Сомнения, тоску и смертный страх,
Неужто не спасет того, кто даже
За смертною чертою сохранил
Достоинство в себе и состраданье,
Остался человеком даже там,
Где человеком быть нельзя?

Неужто
Закон и справедливость больше, чем
Господне милосердие? – Не может
Такого быть...

Дерзай же, мастер! И
Моля о нас, вовек не отступайся!
Да отворят стучащемуся!..

КУРСК – ПЕТЕРБУРГ

Возвращение к себе

Этот стук колёс, словно стук копыт
Словно сердца стук, словно сто разлук
Словно стук в стекло, словно соткан дождь
Словно день и ночь, словно сутки прочь
Словно стук о стол подстаканников
С верхней полки стон, словно ранен кто
Словно свет скользит полустанками
Рельсы сомкнуты, рельсы замкнуты
Сводит стрелки ночь, где-то лают псы
Этот стук колёс, словно звон косы
Словно страх войны, словно плач навзрыд
Словно скрип шагов, словно стук копыт...

ОДНОКЛАССНИКИ

Я иду по ковру, ты идёшь, пока врёшь...

Ты мне врёшь о делах, я в ответ буду врать о здоровье
Мы наврали три короба, впору грузить самосвал
Жизнь идёт по спирали, ты ищешь в ней смыслы, и вновь я
Улыбаюсь как школьник, не знающий цену словам

Ты мне врёшь о дорогах, о дальних неведомых странах
Я тебя буду слушать, пока нас не выгонят вон
Но не ври мне о будущем, время как рваная рана
Но не ври мне о прошлом, не в рифму весь наш разговор

Не собрать из осколков то зеркало, что не соврёт нам
Детство вышло в тираж, затонули его корабли
Мы не думали впрок, мы не знали, что были свободны
Мы не больше минуты смогли на двоих разделить

Ты не ври мне о будущем, и не ври мне о прошлом
Нам и так всё понятно, давай наконец помолчим
Просто слушаем музыку. Ты ведь устала? Я тоже.
Миллион объяснений и тысячи веских причин.

Крѣтѣ

Кто мы такие, и что мы здесь делаем среди задумчивых
Полупустых и пустых и задумчиво движущихся
По галереям подземного мира от станции к станции
Я не здесь, не сейчас, выпадаю из общего ритма движения
Растворился в песках, сгинул в солнечных бликах и отблесках
Я кричу, и мой крик мой пульсирует крик мой пульсирует
В раскалённом до тёмных кругов южном воздухе
Словно воск застывающем, древнем настолько, что нет прилагательных
Чтоб его описать, не почувствовав прикосновения
Я кричу в пустоту, осыпаются замки песчаные
Неподвижно Эгейское море, лишь плещутся волны гексаметром
Я крадусь по развалинам пыльным, никем из туристов не узнанный
То ли чудище в этих пустых коридорах преследую
То ли сам я и есть Минотавр
Я кричу, и мой крик поднимается флагом над крепостью –
Отголоском могущества Венецианской республики
Я кричу, и мой крик с минарета разносится
Словно ветер, поднявшись, взъерошил прибрежную полосу
Янычар или, может, солдат Византийской Империи
Или каждый из тех, кто блуждал в этих узких игрушечных улочках
Кто играл у фонтана, кто дѣргал за ручки дверные, тяжѣлые, медные
Я кричу, и уходят под воду глаголы прошедшего времени
Нет меня, и не будет, и не было, не было, не было...

ОБОРОТЕНЬ

Я осмелился критиковать правительство
И даже печатал листовки
Меня разоблачили и вызвали
Меня осудили на собрании
Меня уволили с работы
Меня исключили из комсомола
Выдали волчий билет
С этого дня
 Прошу
 Считать меня
 Волком.

Словарный запас Розы Карповны Айсман не был и не мог быть причиной стыда – достаточно полный запас. Достаточно. Для учительницы. Однако взгляд, пристрастный более обычного, выявил бы интересную деталь: Айсман принадлежала к числу тех счастливых, которые просто запоминают слова – запоминают, не понимая сути. Активность внутреннего зрения Розы Карповны была ничтожна. За плоскостью слов стояла стена тьмы. Во тьме этой, впрочем, проступали кое-какие поверхности и углы элементарного. Разумеется, Роза Карповна могла себе представить ведро картошки. Или тетрадь по математике. Тетрадь – это тетрадь. Холодильник белый. Туфли натирают. Передача урока музыки предметнику не может влиять на зарплату учителя до тех пор, пока руководство школы не может обеспечить учителю донагрузку до восемнадцати часов в неделю. От шампанского болит голова. Вот и все.

– Зеленые листики – и нет зимы. Идем раздольем чистеньким и я, и ты, и мы, – читала Айсман вслух. Обложка классного журнала, лежащего на учительском столе, была зеленой. Страницы книги – чистенькими. Конфет «Раздолье» в помещении класса не наблюдалось.

– Весна сушить развесила свое мытье. Мы молодо и весело идем! – продолжала Роза Карповна. И опять видела книгу, журнал и кисти собственных рук, не «чистеньких», а перемазанных мелом. Слава богу, туалет по коридору. До конца урока десять минут. Весна не могла развесить. Весна не имела рук. Вес посушить развесила. Вес ведра картошки составляет 15 килограммов. Мы мыло до и весело. Мы – мылодои, веселы.

По форме Роза Карповна напоминала куб. В черновых набросках коллективных воспоминаний ее ширина анфас в точности совпадала с шириною в профиль. Если Ане случалось думать об учительнице во внеурочное время (а это случалось, и часто) – образ куба дополняли огромные, тяжкие, бесцветные груди. Они росли далеко вперед. Несдержанные, как стихия. И наваливались на окантованный вырез платья. Наверное, ни один коралловый риф и ни один каменный волнорез не выносили столько напряжения, сколько одежды Айсман. Похоже, вторя мыслям, плоть этой женщины блуждала впотьмах, разрастаясь за отсутствием видимых вокруг себя границ.

• **Катя Пицык** родилась в 1976 г. в Магадане. Окончила Магаданское государственное училище искусств. С 1996 по 2001 г. жила и училась в Санкт-Петербурге. Посещала ЛИТО В. А. Лейкина. Работала штатным обозревателем газет «На Невском» и «Время СПб». Автор поэтического сборника «Желтый белый аист» (серия «Пенал», 2000), стихов для детей (журнал «Чиж и Еж»). Живет в Москве.

После каждого конфликта с учительницей Аня переживала случившееся по дороге из школы, дома за ужином и особенно перед сном. Мама касалась пальцем выключателя, желала спокойной ночи и, после щелчка, выходила, плотно прикрыв за собой дверь. Вот тут-то – во внезапной слепоте и тишине – внутри головы становилось шумно. Мысли, прежде вялые, размазанные, угнетенные текущими впечатлениями от зримого мира, вдруг становились четкими и ясными. Раздраженный оперный голос Розы звучал, как живой: «Коган! – кричала она, коверкая фамилию неправильным ударением. – Ты слепая?! Вот как ты пишешь, так и это... Мало, что руки-ноги растут не туда... И глаза не видят?! Это ж какое-то... Это ж выродок!» Присев, Аня как можно быстрее подбирала с пола тетради, пачку которых случайно задела локтем, идя мимо учительского стола. Первая волна боли от унижения обычно застигает врасплох. Сродни страху перед неожиданным дулом пистолета, эта волна приводит в состояние шока, испытывая который, человек готов поднять любые тетради, ползая на коленях по какой угодно земле, лишь бы спасти свою жизнь. Но потом, по мере высвобождения от шока, боль унижения накатывает второй, третьей, десятой волной и добивает тогда, когда мы особенно беззащитны: под одеялом.

Если бы тогда Аня знала столько слов, сколько знает сейчас, она непременно спросила бы бога – так ли уж больно? Так ли уж больно тетрадям падать на пол? Стоит ли боль бумаги, в помощь которой так и так придет поднимающая рука, боли человека, оглушенного презрением? Да и где же логика, господи? Где этот бдящий, чистый, сияющий укоризной меч разума? Аня уронила тетради случайно. Сама же и собрала. Вернула на место. Та же стопка. На том же углу. Край корешков выровнен друг по другу и четко по краю стола. Никто не пострадал. Никто не нагibalся, не тратил здоровья, не растерял минут. Никто, кроме Ани. Так какая же непереносимая боль терзает Розин язык? В чем природа ее раздражения? Где его дно? Допустим, существовал бы закон, запрещающий детям поднимать то, что они уронили. Допустим, дети гибли бы, поднимая предметы. Взрослым тогда приходилось бы волей-неволей подбирать оброненное неловкими детьми. В таком случае гнев утомленных поклонами взрослых был бы вполне понятен. Логически обоснован. Но – закона не было! Следовательно, из бездны гнева Розы Карповны светились опаленные глаза демонов. Есть ли на них управа? И какова роль чревоушителя в поединке человека со злом?

Аня могла бы сказать: вы обозвали меня «выродком» при одноклассниках за то, что я уронила тетради. Моя неловкость стоила мне унижения. Я – заплатила. Сделка завершена. Но почему-то я же и подбираю тетради с деревянного пола, второпях загоняя занозы под ногти. Двойная цена за только одну неловкость? Это неправильно. Я подниму тетради и вот вам моя цена: просите прощенья. При всех. Каково? И как бы тогда повернулось дело? Кто стал бы в итоге заплакан и утрашен? Господи, что бы делала Роза, если бы всемогущая логика не болталась извечно в несчастном хвосте череды мотиваций? К черту. А что если на месте Ани был бы ребенок-огонь, ребенок-титан, ребенок-смертник? Он просто швырнул бы эти тетради Розе в лицо. Но может быть, они лежали в каком-то особом порядке? Который был нарушен? Что скажешь на это?

Мысли громоздились друг на друга, строя дополнительную реальность. И ведомое, поддающееся, всегда готовое устремиться вперед сердце кидалось работать, вместо того чтобы спать. Кровь разгонялась по венам, мчалась, толкая саму себя, пытаясь саму себя обогнать, застревая и распирая сосуды, как распирает

пищевод непомерный глоток воды. Стенки сосудов гудели, будто растягиваемая резина. Мысли метались от прошлого к будущему, от прошлого к выдуманному прошлому, от одного варианта прошлого к другому, третьему, четвертому и обратно к будущему, минуя настоящее, в котором была одна острая необходимость – уснуть. Не думать. Уснуть. Однако будильник стоял над сердцем не строже, чем набитое сеном пугало в огороде. Сердцу внятен был один повелитель: мозг. Кто правил мозгом – оставалось загадкой.

Сердце толкалось, как если бы разыгравшиеся дети соседей сверху (которых на самом деле не существовало) бегали не «по потолку», а внутри – прямо у Ани в груди.

– Представляешь, – сказала она, зная, что брат тоже не спит, – у Розы грудь вот такая. – Аня провела руками перед собой. – Как поднос. Если яблоко положить – не скатится.

– А если три яблока? – спросил Стасик.

– И три не скатятся. И футбольный мяч не скатится.

Стасик рассмеялся, заражая Аню и самого себя особым хохотом – приятным физически, приносящим радость скорее телу, а не уму. Именно такой хохот труднее всего унять. Пользуясь моментом (дети слишком отвлеклись на веселье), лунный свет вползал в комнату матерым лазутчиком, ощупывая каждый встречный предмет – не привлекая внимания – как захватчик в нору зубоскала. Свет испытывал сантиметр за сантиметром, пробирался вперед от окна, поджигая в пути каждый белый, металлический или стеклянный предмет, изгоняя из времени и пространства воду дьявола – темноту.

– А у нее полосочка между сиськами сколько сантиметров?

– Думаю... э... двадцать-двадцать пять.

– Как твоя линейка?! – Стасик раскрылся и сел в кровати. Лунный свет тотчас налип на его майку. И майка вспыхнула, сделавшись видной заодно с застеклением циферблата, оставленной на письменном столе чайной ложкой, золоченым боком пиалы с галетами и тем, что уже давно отражало луну во дворе, – простынями, апатично качающимися над дорожкой к воротам.

– Как думаешь, что внутри сисек находится? – спросил Стасик. – Холодец?

– Вообще-то молоко!

Чтобы хоть как-то приглушить смех, приходилось падать лицом в подушку, зажимать рот обеими руками, накрываться одеялом с головой.

– Вообще-то я знаю, что там!

Воскликая, Стасик подпрыгнул, дав перцу старой пружинной кровати.

– Там улитки. Без домиков! Ну... ну... без раковин. Лысые улитки!

– Голые?!

– Без каски!

– Без трусов!

– Больные тифом!

– Ты сам-то знаешь, что такое тиф?

– Ну... не знаю. От него дети умирают... во время войны.

– А может быть, она умерла?

– Кто?

– Роза Карповна.

Стасик молчал, не понимая над чем бы теперь расхохотаться. Аня повернулась на спину и продолжила:

– Понимаешь... может быть, она шла по улице, поздно, ночью... ей на голову упал кирпич, она упала и умерла, а вокруг не было ни души. И они залезли внутрь ее головы... И теперь говорят из нее ее голосом. Они приказали ей смыть кровь с волос, причесаться и идти на работу. Она была молодая-молодая. Как наша мама. И худенькая. И никто не заметил. Потому что она живет одна.

– А кто они?

– Не знаю... какие-то существа... ночные, злые существа.

– Улитки?!

– Перестань.

Но Стасику хотелось посмеяться еще.

– Завтра скажем маме, чтобы отпустила Шарика и посадила на цепь злую улитку!

Дверь неожиданно распахнулась. Мама пришла к ним в ночной рубашке.

– Я даже не скажу, что вы смеетесь, вы – ржете. Трясутся стены! И если вам так легко подниматься утром, рада за вас. Но подумайте не о себе. Для разнообразия, – сказала мама и захлопнула дверь.

* * *

Крепкая память в сочетании с рахитичным, едва теплящимся воображением делала человека неуязвимым. Человек помнил, что зарплату выдают двадцать пятого числа каждого месяца. Но не мог вообразить себе причину пожара в кафе – скажем, износившуюся проводку, на раны которой капает с потолка. Жизнь такого человека, словно выбеливаясь от пятен, протекала безмятежно и беспечально: по сути Роза Карповна никогда не горевала, ничего не боялась, ни о чем не жалела и не ведала мук сомнений. Единственным легкодоступным ей черным переживанием оставалось глубочайшее раздражение. Розу Карповну раздражало все. Подумать только, цыгане не моются. Управдом бывает пьян каждый четверг. Мел забивается под ногти. Зимой холодно. Рентгенологическое отделение и невропатолог находятся на разных этажах. На детей постоянно надо кричать. От крика ужасно болят связки. При всем при этом детей нельзя бить. (Последнее тем более несуразно, что дети, за малостью роста, как нельзя лучше подходят для избивания.) Лишний вес затрудняет подъем по лестнице. А у мужчин между ног наличествует омерзительный мятый мешочек кожи. И этот мешочек не дает забыть о себе, всегда выпирая под ширинкой.

Новое раздражение охватывало Розу Карповну, когда старое еще не успевало толком улечься. Однако за самим по себе словом «раздражение», как и за прочими, разверзлось нечто неудобоваримое, вроде пропасти космоса, все та же темнота, в коей учительница не находила тверди, словом – хаос. Кубическая Роза обваливалась в этот хаос, ударялась о его толщу, дробилась на триллионы микрон и парила в хаосе, сама становясь хаосом. В голове Розы Карповны торжествовала путаница. И то обращалось чередой подлогов. Раздражение она принимала за страдание, а также за печаль, за жизненную трудность, за боль до слез, одиночество, недуг, плохую наследственность и, наконец, жестокость мира, наносящего человеку удар за ударом. Словом, безмятежная и беспечальная жизнь Розы Карповны проходила мятежно и печально, как сновидение каторжника, свернувшегося на ледяном полу.

Слова – клей, скрепляющий человека со временем, с миром, с самим собой, – познанные Розой Карповной, умирали, истекая смыслом до капли. К сорока шести годам Айсман являла собой фундаментальный, большегрудый, неприступный саркофаг, набитый тысячами иссохших трупов – скелетов, окаменелостей, так называемых шаблонов, безвозвратно утративших свойства клея. По этой причине речи и поступки Айсман, как правило, не имели между собою ничего общего. «У меня нет любимчиков», – говорила Роза Карповна. «Для меня вы все равны». «Я никого не выделяю». Она говорила так, потому что слышала эти фразы ранее, потому что их неоднократно произносили ее учителя или коллеги – словом, потому что она помнила эти слова. И ни по какой другой причине.

«Вы мне все одинаковые». Если бы Айсман могла представлять, если бы в черном небытии, беспредельно протяженном за плоскостью данной фразы, хоть на мгновение раздалась вспышка света, то озарила бы тридцать равноликих близнецов, бесполох, безголосых, безымянных блондинов, сидящих с прямой спиной, сложив бутербродиком ручки. Тридцать одинаково сытых, обласканных и опрятных. Или тридцать одинаково потных, сопливых и алчущих молока. Одинаково стриженных. Или одинаково заплетенных. В общем, одинаковых – неотличимых колорадских жуков, тридцать красных рубах, тридцать копий, вперивших одинаково серый взгляд в непререкаемый бюст Розы Айсман.

Увидев «всех одинаковых», Роза Карповна поспешила бы больно ущипнуть себя, чтобы очнуться и отвлечь внимание от картины, видимой внутренним зрением. И вот тогда она смогла бы увидеть класс. Настоящий класс. Три ряда парт. Четыре окна. Простертый свет дня. Тридцать человек – семилетних, дышащих, теплых, – каждый из которых неповторим. Неповторим в сокрытом, взрывающемся во вне и разлетающемся на детали. По числу даже не восходящие к бесконечности, а уже являющиеся ею – наглядно. То есть Айсман столкнулась бы лицом к лицу с подлинной бесконечностью, холод величия коей вторгся бы в сознание учительницы, как вторгся бы в комнату мартовский воздух, вздумай кто-то разом открыть все четыре окна. Говоря совсем коротко, Роза Карповна испытала бы катарсис. Освободилась бы от себя. И поняла: она не смотрит на фотографию тридцати человек, приколотую к списку фамилий в журнале, а сама является фигурой, стоящей внутри фотографии, наблюдаемой кем-то третьим.

Дай бог, катарсис затянулся бы секунд, например, на десять. И тех хватило бы, чтоб не только увидеть разных детей, но и услышать дыхание каждого – ощутить, сколь по-разному дети дышат. С разной частотой раскрываются ноздри. Воздух входит в разные по форме пустоты. Разные легкие с разной силой расширяют грудины. Разная кожа. Белая, смуглая, голубоватая, мраморная, в россыпи родинок, в спекшихся ссадинах, обветренная, зацелованная, впитавшая запах мокрого снега, лимонада, собачей шерсти, вылипившихся цыплят, грибного супа. Кожа плотная. Кожа тонкая. Слишком сухая. Или слишком влажная – мягкая, как сырое тесто. Или слишком прозрачная, как жидкость, отделившаяся от вчерашней сметаны, – пропускающая сумерки вен. Когда на выдохе эта кожа отстает от шершавых воротов и манжет, открываются разные запахи тел, нагретых до разных температур. Кровь подступает к лицам и, оплодотворенная светом, не повторяет себя в оттенках. Вишневый. Чайный. Закатный. У кого-то щеки вспыхивают и мгновенно гаснут. У кого-то густо наливаются багровым сиропом. У кого-то покраснение проступает пятнышками, схожими с крапом пигмента на коже послепоющих яблок. У кого-то – едва просвечивает, почти исчезая в

тени, напоминая остатки недосмытых румян. А ушные раковины? – эта неуловимая деталь, постоянно соскальзывая с плоскости видимого, мелькает, как круги на воде, каждый из которых походит на разное – на завязь бутона, на спираль аммонита или на оголенный зародыш. А ресницы? – каждая пара их по-разному вздрогнула бы под ладонью, давая себя обнаружить, как жесткую хвою, или как трепет бабочки, или как скрежетание самой маленькой в мире ящерицы. А волосы? – чьи-то пряди смиренно заходят в косу, чьи-то выбиваются из хвоста и, свернувшись колечками, замирают в затылочных впадинах, а чьи-то, свободолобивые, расползаются и гуляют, щекоча за ушами, покалывая лоб и скулы.

Вот что увидела бы Роза Карповна. И, увидев, в конце концов услышала бы, как в последнем ряду от чьего-то пульсирующего виска отклеивается рыба чешуйка, приставшая утром на кухне. Именно так Розе Карповне явился бы текст оды творению – явился, раскрывая перед учительницей божественный триптих, в створках которого, в отличие от створок трельяжа, умножаются не копии, а бесконечные оригиналы.

Сколько бы это продлилось? Шесть, семь, а может быть восемь секунд? – долгих, огромных, мутировавших в процессе очищения. Теоретически за это время Роза Карповна могла бы засвидетельствовать обновление собственных клеток – учуять целебную силу катарсиса. Это побудило бы Розу Карповну зубами вцепиться в девятую секунду и не сводить слезящихся глаз с бесконечности, чтобы стать свидетелем распада изображения на атомы. Перехода к прозрачности. Через которую, как на рентгеновском снимке, проступили бы кости – скелеты разного будущего. Проступили дожди и солнце. Солнце и дожди. Стекла в каплях воды. Стекла окон квартир, окон гостиничных номеров. Окон такси, отделяющих тридцать пар глаз от деревьев. Светофоров. Перронов. Вывесок. Щеток, мерно ходящих по лобовому стеклу. И восстающих из воды фасадов вокзалов и аэропортов. Житомир. Киев. Москва. Париж. Брюссель. Ровно. Винница. Бухарест. Белгород. Петербург. Города, растущие из земли в кислород. Кислород разной степени чистоты. В который тридцать разных размякших тел выныривают из разной топи – рыданий, крови, долгих изматывающих разговоров, спермы, водки, легкого джаза, горелого масла, мочи или воскресного телевидения. Выныривают, хватают разного рода предметы – вешалки, сигареты, новогодние елки, церковные свечи – и, схватив, двигаются дальше, по-прежнему с разною силой наступая на землю и с разною мощью дергая на себя двери, за которыми по-разному пьяный или по-разному трезвый хирург разрежет их одиночество на тоненькие полоски под таким по-разному белым потолком.

Наконец, если бы Айсман посчастливилось добраться до десятой секунды, в пограничный момент она наблюдала бы абсолютно прозрачную, хрустальную абстракцию – тридцать бесконечностей, отделенных друга от друга пропастью – между каждым одним и каждым другим, между каждым одним и двадцатью девятью другими – столь бесконечной, что падающая наковальня не достигла бы ее дна ни на девятый день, ни на какой-либо еще.

Вот тогда бы, обескураженная искусством, язвительная сомнением, Роза Карповна вынуждена была бы спросить себя: одинаковые? С какой стати? Она поняла бы вдруг то, что знала и раньше: дети – разные. Факт. Так почему же Роза Карповна Айсман – уважаемый в городе человек – делает вид, что разницы не существует? «У меня нет любимчиков». «Для меня вы все равны». По каким причинам некий безымянный учитель когда-то сказал это первым? Что заставило его обмануть и

затем последовательно, чистым усилием воли, подтверждать обман поступками, боясь отступить от него даже в собственных мыслях? Розе Карповне пришлось бы искать ответы на эти вопросы. Днем. Ночью. Всегда. В постели. В классе. У доски. На доске. В глазах родителей. Под пенкой остывшего молока. По дороге из столовой в учительскую. В автобусе №5. В тяжелой сумке с тетрадами. В постели. В бранном тексте отрывочной песни оправдома. В письмах, брошенных в мусорный бак три года назад.

В мыслях Розе Карповне пришлось бы следовать за спинами выходящих из гастронома людей, за струей воды, смывающей с пальцев мел, за скорой помощью, отъезжающей от соседнего подъезда, за собакой, бросающейся под колеса, за каштаном, сорвавшимся и летящим в канализационный сток. Мыслям учительницы пришлось бы ползти сквозь стены, врубаться под корку асфальта, идти на оранжевый свет под ткань занавесок, падать внутрь карманов, оседать на дне вместе с крошками, осязая одиночество осколков материи, разделять страх отчужденного воздуха, замурованного в пустоте плохо отлитой бетонной плиты и достигать самых далеких орбит, на которых вращаются не знакомые нам слова, а невидимые явления, словами еще не названные. Достигать с единственной целью – не истощить, а отдать непридуманном словам свою кровь, стать донором, который не сладко спит, даже во сне продолжая поиск, без конца отвлекаясь от раздражения.

* * *

Аня опустила кисточку в воду и перестала дышать. Беличий хвостик сам собою набух и приготовился распухнуть пять сотен ворсинок, прикидываясь космическим волосатым цветком, но замер на полумере, предпочтя остаться молодым бутонем. Краска начала потихоньку выпутываться из тончайших лепестков, разворачивая в прозрачной баночке зеленую струйку дыма. Цветок курил под водой. Это трудно было бы объяснить, но урок рисования имел нечто общее (много общего) с церковной службой, куда дедушка брал Аню так редко. Древки кисточек постукивали о края бликующих баночек. Дети молчали. Мелкие воды булькали то и дело. Мокрая бумага блестела на свету. По мере испарения влаги акварели меняли цвета. Случайные капли падали на передники, парты, линолеум, ножки стульев и застывали в расщелинах мира самоцветами, брошенными из-под золоченых копыт. Если бы Аня знала столько же слов, сколько знает сейчас, она сказала бы: Господи, это храм. Ты есть. И ты рядом со мной.

Бросив последний взгляд на воскурение одинокого туземца в пока еще прозрачной реке, Аня резким движением взболтала воду. Та в миг позеленела. Цветок исчез. Прощай. Прости. Ты жил, пока я на тебя смотрела.

Роза Карповна проверяла тетради по русскому языку.

– Серебрякова, – сказала она, сняв очки и отложив их, почти бросив подальше в сторону (жест отображал раздражение, которое Роза Карповна принимала за высочайшую степень усталости), – ты... давай, вот, мы твое имя всегда будем писать с маленькой буквы? Что скажешь?

Таня Серебрякова выпрямилась и в волнении зачем-то опустила руки под парту, прислонив мокрую кисточку прямо к фартуку. По черной ткани поползло мокрое пятно.

– Река Vogla... Это что, по-твоему? – спросила Роза Карповна.

- Э... река?
Послышались редкие смешки.
- Знаю, что не море.
На этот раз смешков стало побольше.
- Тихо. Интересно узнать, что бы твоя мама сказала, если почитала бы твои упражнения.
- А... она проверяет...
- Да ну? И устраивает ее?
Таня молчала, в волнении все больше вытягивая спину.
- Если устраивает, так получается, что мама даже трех классов не закончила.
Роза Карповна взяла из стопки следующую тетрадь, дав понять, что говорить больше не о чем. Зварыч поднял руку.
- Можно выйти?
- Нельзя.
- Но... мне воду поменять.
- Чтобы воду менять, надо сначала изрисовать пол-альбома.
- Но мне очень надо.
- Третий раз? За два часа? Не слишком?
- Роза Карповна... – по тону Зварыча легко можно было угадать человека, предпочитающего аутичному размалевыванию увлекательную беседу с поворотом сюжета.
- Ну?
- Э... вот, вы же третий раз подряд Афанасьеву назначаете командиром звездочки. Не слишком?
- Сейчас договоришься! Выйдешь вон из класса, положив дневник на стол!
Раздутые гневом груди Розы Карповны поднажали на окантовку.
- Свинство... – сказала она, прикрыв глаза и помяв пальцами переносицу. Жест этот отображал раздражение, которое Роза Карповна принимала за растянувшееся на годы великомученичество. – Так... ты, Зварыч, хочешь быть командиром звездочки?
- Нет. Я хочу быть космонавтом.
- Взрыв хохота быстро сошел на нет, так как лицо Розы Карповны покрылось белыми пятнами. Стало страшно. И очень тихо. Никто не рисовал.
- Вон. Вон, я сказала. Дневник на стол.
Зварыч привстал. Его цель была достигнута.
- И запомни...
- Роза Карповна с трудом пережевывала воздух.
- Я никого из вас не выделяю. Вы мне все одинаковые. Афанасьеву я назначаю командиром звездочки потому, что она не хочет стать космонавтом, она хочет стать пионером!
- Постепенно голос учительницы вошел-таки в резонанс с дыханием и набрал свою известную оперную силу.
- Она пример подает! А ты какой пример будешь подавать?! Как в носу ковырять? Вон!!
- Зварыч быстро прошел между рядами. Дверь закрылась. Давление подскочило. Сонливость не оставила о себе даже воспоминания. Очень кстати пришла мысль о соседке, не вернувшей взятый накануне тонометр. «На двадцать минут».

Вот и делай после этого людям добро. Роза Карповна сняла с непроверенной стопки верхнюю тетрадь.

Наступила весна. Стояла ночь. Жители деревни проснулись от шума. Это освободалась ото льда река. Громадные льдины налетали друг на друга. Громадные льдины налетали друг на друга. Наступила весна. Стояла ночь. Жители деревни. Роза Карповна поймала себя на том, что перечитывает данное упражнение уже в пятнадцатой где-то тетради, но решительно не понимает написанных детским почерком слов. Тем более теперь, когда Зварыч, довольный, шагает по пустому коридору к выходу, душой космонавта и телом футболиста устремляясь на школьный стадион. Жители деревни проснулись от шума. Кто все эти люди? Эти льдины. Эти реки. Эти мальчики, пинающие грязный мяч. Чья это тетрадь? Ах, это тетрадь Коган. Ну, конечно. Кто, как не она, мог бы загадить бумагу такими крупными, такими непристойно крупными буквами – яйцеголовыми, неровными, эпилептическими, складывающимися не в почерк нормального ребенка, а в завал синих путаных ниток, раскрученных из катушки бесноватым гугнивым недоумком. Неужели Коган не видит линейек?! Как же это все надоело. Для чего ей глаза?! Господи. Как же это все надоело.

Ничего удивительного. Ничего удивительного в том, что Роза Карповна не понимает. Жители деревни. Громадные льдины. Наступила весна. Никто бы не понял. Ни один человек не понял бы этот дрожащий разнузданный почерк. Ни одному человеку не выпало пережить такого надругательства. Боже. За что?!

– Коган! Сюда иди.

Перепад давления слегка оглушил Розу Карповну и, плохо слыша саму себя, она стала кричать даже громче обыкновенного. Аня испугалась. От неожиданности. Посреди службы бешеное кадило вдруг соскочило с цепи и бомбануло кому-то из прихожан прямо в мякоть лица. Может быть, даже самой Ане. На то и неожиданность, чтоб на первых порах не понять – чья кровь капает с подбородка.

– Эмм... Я? Подойти?

– А кто? Я что ли? Я чью фамилию назвала?! Иди сюда.

– Принести альбом?

– Сюда иди, – Роза Карповна процедила это сквозь зубы, что оказалось даже страшнее, чем визг.

По-прежнему не понимая сути, полагая, что учительница подозревает ее в безделье, Аня все-таки взяла альбом и вышла к учительскому столу, держа мокрую, весьма удачно начатую работу перед собой.

– Что мне твои художества?!

Явно не владея собственным кубическим телом, самовольно расплясавшимся из-за припадка, Айсман потянулась рукой к альбому, чтобы вырвать его и положить на стол, но промахнулась, пощупав воздух. И от обиды на свою ходуном ходящую руку разозлилась еще больше.

– Художница!

Со второй попытки Роза Карповна поймала альбом и, по всей видимости, перейдя в фазу беспамяты, швырнула на пол между рядами. Альбом упал так, как упал бы любой бутерброд, – вниз тем, что легче всего уничтожить, без всякой возможности восстановить. Упал, подчеркивая бессмысленность прошлого. Тщетность усилий. Наивность планов. Упал, лишний раз обращая внимание на второ-

степенную роль человека в его собственной жизни. Листки разъехались веером. Но именно тот листок, на котором минуту назад блестела еще совсем свежая акварель, большей своей частью оказался прижат к деревянным, плохо метеным доскам. От мастерски набранных первых слоев пейзажа осталась грязь.

– Рисуешь хорошо? Художница?! А писать?!! – Роза Карповна подняла над головой тетрадь Ани, раскрытую на проверяемом упражнении. – Посмотрите! Срамище какое! Может, ты сначала буквы писать научишься? Покажи мне хоть одного... хоть... В третьем классе! Вот! Вот! Что это? Можешь мне объяснить? Ты не видишь линеек? Тебе зачем глаза?! Зачем руки?! – Теперь Роза Карповна начала подносить раскрытую тетрадь прямо к лицу Ани, конвульсивно сжимая при этом пальцы, в которых бумага сильно мялась и, кажется, начала потихонечку надрываться.

– Это кол. Единица. Больше тут нечего ставить. Может, тут и нет ошибок. Но мы об этом никогда не узнаем, потому что прочитать это никто не может. Даже сама Коган.

Роза Карповна припечатала мятую тетрадь к столу. И красной пастой вывела единицу через всю страницу. От верхнего края до нижнего. Разрывая местами бумагу кончиком стержня. А затем швырнула тетрадь на пол в компанию к альбому. Горячие капли стекли по щекам, омыли подбородок и упали на руки и на фартурк. Разумеется, это была не кровь. Впрочем, и дело было не в церкви.

Екатерина
ПОЛЯНСКАЯ

СТИХИ

* * *

К этой квартире, где прожито столько лет,
Так что можно вполне сойти за домового,
Где с чужой памятью собственный смешан бред,
Я подхожу и войти не решаюсь снова.

Там не укроешься: жизнь состоит из прорех
И по краям – густых отпечатков пальцев...
Лучше не думать, помнят ли вещи всех
Бывших хозяев, а точней – постояльцев.

Тех, кто на пианино этом играл,
Мыл, убирал, тонко раскатывал тесто,
Думал, страдал, болел, потом – умирал,
Освобождая другим квартирантам место.

Что меня ждёт за дверью? Каким ещё
Дышащим зеркалам во мне предстоит разбиться?
Кто и за что сегодня предъявит счёт
И предложит с процентами расплатиться?

Прежде, чем тяжестью лягут в ладонь ключи,
Сердце наполнив мерцающею тревогой,
Прежде, чем этому сердцу сказать: «Молчи!»,
Надо ещё постоять, подождать немного.

Надо собраться с силами, перекурить,
Сжаться до точки, внутри себя бесконечной,
Чтобы потом решительно дверь отворить,
И спокойно шагнуть темноте навстречу.

* * *

Когда сквозь дым и суету,
Сквозь запах шашлыка и пива
Размытым берегом залива
Я безнадежно побреду

• **Екатерина Полянская** окончила СПбГМУ им. И. П. Павлова, работает в Российском НИИ травматологии и ортопедии. Член Союза писателей России с 2002 г. Автор поэтических сборников «Бубенцы» (1998), «Жизни неотбеленная нить» (2001), «Геометрия свободы» (2004). Печаталась в журналах «Нева», «День и ночь», «Наш современник», «Питер-book». Лауреат конкурса «Пушкинская лира» (Нью-Йорк, 2001), премии им. А. А. Ахматовой (2005), им. Н. Гумилева (2005).

По серому песку,
Тогда
В случайном и нестройном хоре
Я вдруг услышу голос моря –
Непостижимый, как всегда.

Прорежет воздух птичий крик,
И ветер, чешущий осоку,
Очнётся и взлетит высоко.
И запоёт иной тростник

О том, как, разбиваясь вдрызг,
И возрождаясь без потери,
Иные волны хлещут берег
Осколками счастливых брызг.

КОТЁНОК

Он распугал всех кур, пусть неумело,
А всё же – прыгнув из-за лопуха.
Он маленький, но он ужасно смелый,
И он идёт – один – на петуха.

А тот разинул клюв и в удивленье
Застыл на миг от наглости такой.
Короче, храбреца спасло мгновенье.
А может быть, судьба моей рукой

Похитила у смерти неминучей...
И вовремя: вздымая прах и пух
Нас до крыльца, подобно пыльной туче,
Преследовал разгневанный петух.

Котёнок выжил в этом переплётё,
Но вскоре сгинул где-то ни за грош.
Всего-то лишь – комочек тёплой плоти...
Зачем он был? И разве разберёшь

Его узор в сплошном переплетенье
Рождений и смертей? И мне в ответ
Младенчески смеётся день весенний,
Сияя и расплёскивая свет.

* * *

Не возьмёшь мою душу живу...

М. Цветаева

Сегодня, несмотря на спешку,
Я в самой середине дня
На полчаса зайду в кафешку,
В кармане мелочью звеня.
И там, представьте, будет тихо,
Тепло, свободно и светло.
И я, поняв, что дремлет лихо,
Что мне безумно повезло,

На целых полчаса забуду
Жужжание обид и бед:
Немытые полы, посуду,
Неприготовленный обед.

Свободе больше не перечу,
Так бесконвойно задышу,
Что словно полечу навстречу
Рифмованному миру,

И, обретая душу живу,
Иные слыша голоса,
Я стану, наконец, счастливой –
На полчаса, на полчаса.

* * *

Они рассуждали:
хитрый – о честности,
трусливый – о мужестве,
бездарный – о вдохновении.
А равнодушный так говорил о любви,
что аж заходило сердце.

Они призывали:
благополучный – к терпению,
злой – к милосердию,
к щедрости – жадный.
Ну а бездельник так пел славу труду,
что прямо руки чесались.

Они упрекали:
лжецы – в недоверии,
любопытные – в сдержанности,
эгоист – в неготовности к жертве.

А безбожник, тот просто разил наповал
цитатами из Писания.

И вот, постарев,
поседев в безнадежной борьбе с энтропией,
устав от привычной сансары,
я вспомнила вдруг, что в учебнике –
обычном учебнике
военно-
полевой хирургии,
сказано чётко:
«спеши не к тому, кто кричит –
к тому, кто молчит».

* * *

Бездумно провалялась целый день,
Простуде предпочтя без боя сдаться.
И вот теперь за собственную лень
Перед собой пытаюсь оправдаться:

«Ну, полежала, отдохнула... Да.
Неделя суеты, и всё такое...
Усталость... Возраст... В общем – ерунда.
Пусть воли нет, зато чуть-чуть покоя

Мне выпало...»

Но тающий в окне
Вечерний свет, спокойный и серьёзный –
Он кроток был. И стыдно стало мне
Пред истиной его простой и грозной.

Как будто бы не день один, но – жизнь,
Где этот день сменялся многократно,
Растрачена на сны и миражи –
Бессмысленно, бездарно, безвозвратно.

* * *

Так хочется настроить эту жизнь.
Она же – ускользает, не даётся.
Всё что-то в ней болит, мерцает, бьётся,
Мелькают лица, даты, этажи.

Всё слышится то пение, то – плач,
То – резкий смех, то – электрички дальней
Тревожный свист... Всё яростней скрипач,
А голоса – всё выше и хрустальней.

Вот – зимний лес, и синяя лыжня
С разгону огибает куст ольховый.
И куст тихонько кружится, звеня
Смолистыми серёжками... И снова –

Летят огни, грохочет переезд,
Но с каждым днём всё резче и свободней
Тень фонаря, похожая на крест,
Качается у самой подворотни.

Звучат единой музыкой шаги,
И лязг замка, и звяканье цепочки,
И шум дождя, и голоса пурги,
И выдох раскрывающейся почки.

И всё вокруг меняется, спешит,
Смысл обретая в каждой переменной,
Где звук со светом неразрывно сшит.
И дирижер слепой и вдохновенный,

Из темноты прорвавшись ледяной,
Парит над партитурой раскалённой,
И каждый миг гармонией иной
Взрывается оркестр ошеломлённый.

* * *

Остерегаюсь
ленивых коней,
сентиментальных мужчин
и женщин мужеподобных.
Первые непредсказуемы,
вторые
склонны к жестокости,
в третьих полно
тлеющей вредности бабьей.
Всю жизнь
я их опасаюсь,
стараюсь держаться подальше.
Но
у первых такой кроткий взгляд,
вторые
так красноречивы,
а третьих
патологически жалко.
К тому же,
если в себя заглянуть
спокойно и беспристрастно –
нечто ведь есть и во мне
от первых,
вторых,
и – от третьих.

СТИХИ

* * *

«Ананасы в шампанском!»
«Хризантемы в снегу!»
«Ах, я знаю Вас, маска –
Вы – свиное рагу!»

Интермеццо с прибором...
Рок-н-ролл с гопаком...

Соблюдайте декорум! –
там за лесом, за бором
лупят в колокол сдуру –
так спасай свою шкуру
и не будь дураком:

«В масле собственном шпроты!»
«Марципаны с борщом!»
Ах, судьбы повороты –
отпевают кого-то,
кто совсем ни при чём.

То ли чёрт посмеялся –
и устроил бедлам,
то ль звонарь помешался,
то ли колокол сам.

И, оглохнув от звона,
понимаешь с трудом,
что звонит он бездонно
над запретною зоной
ни по ком,
ни по ком...

* * *

Кто хочет быть обманут – будет.
Влекомый страхом одиночества,
он подлость назовёт причудой
и низость примет за высочество.

И маскарадные одежды,
и грим, и маски без лица –
учёным сделают невежду
и благородным подлеца.

• **Марк Троицкий** – художник и поэт. Родился в Ленинграде. Окончил Академию художеств. Автор трех поэтических сборников. С 1986 г. живет в Чикаго.

Итак – дороже низких истин
нас возвышающая ложь?
Коль хочешь жизнь прожить туристом,
не сомневайся – проживёшь:
дорога будет не тернистой,
и налегке придёшь на пристань,
с которой в нети уплывёшь.

Расплачиваясь с Хароном,
не мелочись, не суетись:
то, что оставил за кордоном,
всего лишь называлось – жизнь.
И поздно уж просить пардону,
хоть богохульствуй, хоть божись.

На Стикса сопредельный берег
ступи уверенной стопой –
все те, кому ты слепо верил,
тебя встречать придут толпой.

Ты снова с ними...
Беспольный
тебе урок последний дан:
закон симметрии – железный:
коль жизнь обман, и смерть – обман.

* * *

Был малограмотен палач,
но мастер дела был отменный:
отрублено – так плачь, не плачь –
рубить башку или полено –
не всё ль равно?
Не все ль равны:
поленья, псы, поэты, гуси?

...Не фамильярничай, на «Вы»
останься с Мастером.
Не суйся
без приглашенья под топор –
ему и так работы с лишком.

...И, выйдя на тюремный двор,
взгляни наверх – «Какой простор!»
И на тебя глядит в упор
(она ещё совсем малышка!)
Вселенная миллионом звёзд –
(она растёт! вся вширь! вразнос!!),
ей безразличен твой вопрос:
«Куда же чёрт меня занёс?!»

И нет ни дна в ней, ни покрышки...

* * *

Нетопырей неторопливых
полёт над городом ночным,
громадных крыльев переливы,
свистящий шелест, чёрный дым,
клубящийся в ущельях улиц,
желтушный проблеск фонарей,
заснувший человечесий улей,
(чем беззащитней он, тем злей),
и хищно клювы изогнули
в бессонном мрачном карауле
грифоны, притаясь, ссутулясь
во мраке парковых аллей.

Чу... слышишь? – Аты! Аты-баты!
дрожат от топота торцы,
безмолвным ужасом объяты
соборы, статуи, дворцы –
он близок, близок час расплаты:
в жестяной тусклости луны
грядут болотные солдаты,
рабы петровы (аты-баты!!)
из трёхсотлетней глубины.

Отмщенье, государь, отмщенье!

«Красуйся, град Петров, и стой...» –
высокопарные реченья
не скроют истины простой,
не спрячут истины кровавой:
милыоны жизней крепостных
он стоил – монстр величавый...
Но что до них? Кому до них?!

.....

Нетопырей улётный прочерк
в рассветной мути растворён...

День настаёт – страшнее ночи –
день жажды, ненависти, порчи,
победных маршей и знамён.
В нём – ужас сбывшихся пророчеств
и грай кладбищенских ворон.

* * *

Памяти Даниила Хармса

Шла по улице собака.
Рядом с нею шёл пингвин.
«Удивительное рядом!» –
удивился я один.

А все прочие спешили,
кто куда и кто за чем,
потому что разучились
удивляться, ну совсем.

Ведь живём в стране чудес мы,
где бывает и не то!
Даже я со всеми вместе
совершенно не заметил,
что пингвин-то был – в пальто!

Для чего пальто пингвину?! –
тридцать градусов жара!
Назовите мне причину,
потому что без причины
(где одна, а где другая),
согласитесь, не бывает
ничего и никогда!

Но на улице Садовой
неожиданно вполне,
не сказав ему ни слова
(и хвостом-то не махнувши,
что невежливо вдвойне!),
р-раз! – собака в подворотню,
и покинутый пингвин
среди толкучки равнодушной
навсегда, бесповоротно
оказался вдруг один.

Только он не растерялся
и вразвалку, как матрос,
до Невы пешком добрался,
снял пальто, бока огладил,
стал во фронт, как на параде,
с парапета прямо в воду
на глазах всего народа
сиганул – и был таков.

* * *

М. Ц.

Прости, Марина, я тебя не уберёг...
не знал, не слышал – это ль оправданье?! –
не вышиб дверь, не выломал замок
и петлю не сорвал, не дав ей стать удавкой.

И голову твою не обнял, не прижал
к груди: «Ну, что ты, что ты...?»
я здесь – ты не одна,
и я тебя не дам сожрать
совписам, недотыкам, живоглотам».

Как страшно разминулись мы с тобой
в двадцатом, кажется... да нет –
во всех столетьях.

Проклятый рок считается судьбой.
Судьба? – нет! – произвол, слепой разбой!
...а без тебя мне век любой – пустой.
...и в двадцать первом – тоже нам не светит.

Прощенья мне не может быть – на смог
предотвратить... остановить твоё убийство...

Вот Бог – а вот порог. И за порог
одна без спутников ушла
от мирового свинства.



К 450-летию со дня рождения Шекспира

Елена
ПЕРВУШИНА

«ГЕНИЙ ОГНЕКРЫЛЫЙ»

В 1996 г., в связи с 380-летием со дня смерти Шекспира, 23 апреля было объявлено ЮНЕСКО Всемирным днём чтения. Но – удивительное дело! – этот же день в нынешнем году сияет светом принципиально иного юбилея – 450-летия со дня его рождения! Не зря в школьных литературных викторинах часто спрашивают: «Какой известный писатель умер в день своего рождения?». Ответ знают многие: ШЕКСПИР. Не правда ли, в этом совпадении есть какая-то особая таинственность, как будто сама судьба приподнимает на минутку покрывало своей неисповедимости и подает нам некий знак.

В Шекспире всё – тайна. Многие знают о знаменитом «шекспировском вопросе»: Шекспир или не Шекспир автор произведений, ему приписываемых? Сомнение возникло еще в XVIII веке, когда писатель приобрёл громкую славу. Но его первые биографии были так скудны и противоречивы, что все поневоле заколебались: полно, да он ли всё это сотворил? Мог ли человек, который за всю жизнь ни разу не покидал пределов страны, написать пьесы, действие которых разворачивается и в Англии, и во Франции, и в Дании, и в Италии, и в Древнем Риме, и в Древнем Египте, и даже... на Бермудских островах? Мог ли сын обычного стратфордского торговца, не имевший университетского образования, быть тем великим мыслителем и невероятным эрудитом, которого мы видим в авторе произведений, называемых шекспировскими?

Эти сомнения породили множество антишекспировских «ересей». Подозревали, например, что «настоящим» автором был Кристофер Марло. Человек звёздно-яркой, но трагической судьбы, Марло был убит при весьма таинственных обстоятельствах, заставивших предположить, что, спасаясь от преследований, он вовсе не умер, а всего лишь разыграл своё убийство и остался жить, но уже под именем Шекспира. Кого только не предполагали этим автором! Графа Дерби, графа Оксфорда, графа Эссекса, графа Саутгемптона. Да что там графы, всерьёз обсуждалась кандидатура

• **Елена Первушина**, доктор филологических наук, профессор Дальневосточного федерального университета. Живет во Владивостоке.

самой королевы Елизаветы! Однако самыми популярными «подозреваемым» были Фрэнсис Бэкон и граф Рэтленд.

Бэconiанскую версию неистово защищала американская однофамилица великого мыслителя – Дэлия Бэкон. В 1856 г. она высказала захватившую многих идею – в письмах Бэкона якобы заложен ключ к некоему шифру, который убедительно показывает на «настоящего» автора, т. е. Фрэнсиса Бэкона. Мисс Дэлия полагала, что этот шифр был спрятан в могиле Шекспира, и всерьёз намеревалась вскрыть её, чтобы наконец-то разоблачить авантюриста, присвоившего чужой труд. В последние десятилетия убеждённым адептом рэтлендианской ереси был наш современник и соотечественник Илья Гирилов, автор нашумевшей монографии «Игра об Уильяме Шекспире». А нынешняя его последовательница, Марина Литвинова, в собственной книге со странным названием «Оправдание Шекспира» объединила обе версии. Авторы получилось двое.

Многие антишекспиристы находили подтверждение своей правоты... в портретах Шекспира. Например, в самом известном, долгое время считавшемся единственным более или менее достоверным – гравированном портрете, выполненном Мартином Дройсхоутом. Странное впечатление производит эта работа. Вглядитесь: справа, ниже уха, зачем-то удваивается линия, обводящая овал лица. Шея неестественно странно закрыта жестким воротником, как будто отрезающим голову от непропорционально узкого туловища. Большая, чётко очерченная сверху залысина, за которой слишком густые для неё волосы. А на одеревенело неподвижном лице – живые, умные глаза! Уж не маска ли перед нами? Анна Андреевна Ахматова в этом была совершенно убеждена. Известно, что мастера средневековых гравюр любили вкладывать в свои картины тайные смыслы, искусно намекая на них определёнными деталями. Посмотрите, например, как изображены на этом портрете рукава, вшитые под «крылышками» камзола: кажется, что оба на одну руку. На какую? Об этом спорили, но те, кто считал, что на правую, были уверены – это аллегорический знак двух пишущих рук, т. е. на то, что «настоящих» авторов, скрывавшихся за именем Шекспир, было двое! Кого же спрятал Дройсхоут за этой маской? Чьи глаза смотрят на нас через прорезы этой маски? В. Набоков писал в своём стихотворении: Надменно-чужд тревоге театральной, / ты отстранил легко и беспечально / в сухой венчик свивающийся лавр / и скрыл навек чудовищный свой гений / под маскою...»

Впрочем, несколько лет назад все были взбудоражены другим портретом Шекспира. Долгое время считалось, что его прижизненных изображений вообще нет. И вдруг сенсация – картина, триста лет хранившаяся в Ирландии в частной коллекции аристократической семьи Кобб, похоже, разрушает эту уверенность. Побывав на шекспировской выставке в Национальной портретной галерее в Лондоне, Алек Кобб был потрясён сходством работы, висящей в его доме, и увиденного им на выставке известного шекспировского портрета. Газета *The Times*, сообщившая об этой сенсации, приводила слова знаменитого шекспиролога, профессора Стэнли Уэллса, которого попросили высказаться о картине, принадлежащей Коббу: «Я учёный и скептик. Поэтому я подумал, что это очередная ошибка наследника. Но с годами моя уверенность возросла настолько, что теперь я могу заявить, что на 90% уверен в подлинности работы».

Но вернёмся к шекспировским тайнам. Со временем они только увеличивались и обретали силу мощных мифологических импульсов. Даже признаваемый

несомненным автором бессмертных творений, Шекспир постоянно был центром другой, знаменательной и в определённом смысле гораздо более загадочной полемики. В 1846 г. В. Г. Белинский написал в «Петербургском сборнике»: «Шекспир, может быть, величайший из всех гениев..., каких только видел мир». Позднее, в 1857 г., В. Г. Бенедиктов сказал о Шекспире в стихотворении, посвящённом ему: «Несётся гений огнекрылый». А в 1906 г. читатели газеты «Русское слово» увидели шокировавшую всех статью Л. Н. Толстого «О Шекспире и о драме», в которой говорилось: «Шекспир не может быть признаваем не только великим, гениальным, но даже самым посредственным сочинителем». И далее: «чем скорее люди освободятся от ложного восхваления Шекспира, тем это будет лучше».

Что тут скажешь? Одна за другой проходят великие эпохи, Шекспир всё более отдаляется от нас во времени, но – поразительно! – всё более становится неподвластным ему. Его читали и продолжают читать, о нём спорили и по-прежнему спорят, его ставили и не устают ставить на сцене и в кино. Одних «Гамлетов» сколько сняли! В 1900 г. в фильме французского режиссёра Клемана Мориса роль Гамлета исполняла актриса – неподражаемая Сара Бернар. В 1948-м в Англии вышла всемирно известная картина Лоуренса Оливье, ошеломившая зрителей заложенным в неё фрейдистским подтекстом. В 1954 г. появился индийский «Гамлет» с Кишором Саху в заглавной роли. А десятилетие спустя – к 400-летию со дня рождения Шекспира – на экраны вышел наш знаменитый «Гамлет» в постановке Григория Козинцева с незабываемым Иннокентием Смоктуновским. Был у нас и телевизионный фильм-балет «Гамлет» (1969), ведущую партию танцевал в нём сам Мариус Лиэпа. Своего «Гамлета» поставил в наши дни Франко Дзеффирелли, доверив главную роль голливудскому красавцу Мэлу Гибсону. А уж кинофантазий «на темы» и «по мотивам» – не счесть. Пародии, комедии, бурлески, проекции в современность – и всё это «Гамлет»! Каким удивительным открытием стало модернистское антигамлетовское невероятие Тома Стоппарда, написавшего замечательную пьесу «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» и поставившего по ней столь же замечательный фильм, поражающий неожиданными эффектами глубоко бесконечной игры театральных метаморфоз!

Отдельно надо говорить о переводах. Известный писатель и критик А. В. Дружинин уверенно заявлял в далёком XIX веке, что творения Шекспира, даже переведённые на другой язык, всё равно останутся творениями Шекспира. Да и сейчас очень многие, читая переводы М. Лозинского, Б. Пастернака, С. Маршака или А. Финкеля, совершенно уверены, что читают Шекспира. Но ведь ни один перевод не может доподлинно воссоздать оригинал. Подлинным и настоящим может быть только сам Шекспир, а переводы – это всегда трактовка, интерпретация, истолкование, осуществлённые другим автором, в другое время, по законам другой культуры и другого языка.

Конечно, переводы есть замечательные, и особенно у нас, в России. Поэтому появилось и даже утвердилось понятие «русский Шекспир». Не пугайтесь, это отнюдь не название очередной гипотезы о «настоящем» авторе шекспировских творений. Это признание огромной культурной значимости той рецепции Шекспира, которая состоялась в России. В 2007 г. сэр Энтони Брентон, который был тогда послом Великобритании в России, представил читателям журнала «Вопросы литературы» эссе, названное именно так: «Шекспир – русский». В нём говорилось: «Для любой страны великий писатель необходим как источник ценностей и вдохновения, когда политические времена особенно тяжелы. России же

приходилось переживать политические времена потяжелее, чем многим другим. У вас, конечно, есть созвездие своих гениев, к кому можно обратиться: Пушкин, Гоголь, Достоевский, Толстой, Чехов. Но мне думается, что вы имеете право притязать на свою долю Шекспира... Разумеется, моя обязанность – защищать британскую собственность. И Шекспир – её неотъемлемая часть. Но он в то же время больше этого... По своему размаху и богатству, по тому, как его слова ложатся в ваш язык... – по крайней мере, часть его – русская. Так что я отдаю вам его – русского Шекспира».

Выразительным свидетельством общекультурной значимости русского Шекспира стало виртуальное голосование, проведённое в феврале 2009 г. британской газетой *The Guardian*. Его целью было избрание 13-го деятеля культуры, чей портрет следует представить в Зале славы Уильяма Шекспира. Число 13 было выбрано не случайно: именно такое минимальное количество актеров необходимо, чтобы сыграть любую из шекспировских пьес. В упомянутом зале уже были портреты и знаменитых современников писателя – драматурга Бена Джонсона, актёра Дэвида Гаррика, и тех, кто впоследствии способствовал утверждению этой славы – Чарльза Диккенса, сделавшего очень много для сохранения дома Шекспира в Стратфорде; Лоуренса Оливье, чьи шекспировские роли стали всемирной классикой; Акиры Куросавы, адаптировавшего Шекспира для японского кино; Поля Робсона, первого чернокожего исполнителя роли Отелло; Леонардо Ди Каприо, сыгравшего Ромео в популярном фильме База Лурмана «Ромео+Джульетта», и др. В результате голосования этим 13-м был избран Дэвид Теннант, известный актёр, звезда сериала в стиле фэнтэзи «Доктор Кто». В конце 2008 г. он сыграл Гамлета, это и определило его успех в голосовании. Нельзя не признать: Теннант всё равно смотрится несколько одиозно в компании тех кандидатов, которых он «обошёл», набрав 65% голосов – Питера Брука (3,2%), Сары Бернар (1,3%), Гёте (0,9%), Вирджинии Вулф (0,6%), Бернарда Шоу (0,6%) и др. Но я о другом – на втором (!) месте в этом списке, т. е. впереди всех только что перечисленных, оказался наш соотечественник – Борис Пастернак (15%). Он хорошо известен британским читателям в первую очередь как автор удостоенного Нобелевской премии романа «Доктор Живаго», пронизанного яркими шекспировскими аллюзиями. Кроме того – как великий переводчик Шекспира на русский язык. И конечно, несмотря на то, что Пастернак не стал победителем в этом голосовании, одно только включение его имени в список кандидатов уже стало признанием «русского Шекспира», а почётное 2-е место – красноречиво высокой оценкой значимости этого явления.

Поистине феноменальной особенностью современного «русского Шекспира» стала множественность параллельных переводов одного и того же текста. Особенно «отличились» в этом плане сонеты. Несмотря на то что они пришли в Россию намного позже, чем драматические произведения писателя, именно сонеты предстают сейчас перед нашими читателями в наибольшем количестве переводных версий. Самый известный в России переводчик сонетов С. Маршак очень гордился широчайшей популярностью своих переводов, говоря, что их читают и рабочие, и шоферы такси. Теперешние переводчики шутят: шофёры такси больше не читают шекспировских сонетов в переводах Маршака – они заняты собственными их переводами.

Амплитуда переводческих разночтений шекспировских сонетов впечатляет. Очень различаются стилевые регистры, в которых проецируется один и тот же

текст. Вы помните знаменитый 66-й сонет, особенно близкий по содержанию трагедиям Шекспира? В переводе Маршака он начинается словами: «Зову я смерть. Мне видеть нестерпим / Достоинство, что просит подаянья, / Над простотой глумящуюся ложь, / Ничтожество в роскошном одеянье...». Посмотрите, как различны у разных переводчиков переводы заключительного двустопия этого сонета. Н. Гербель элегически сентиментален: «Всем этим утомлён, я бредил бы могилой, / Когда бы не пришлось тогда проститься с милой». Б. Пастернак исповедально трагичен в глубинной простоте найденных им выражений: «Измучася всем, не стал бы жить и дня, / Да другу трудно будет без меня». С. Маршак благородно гневается и обличает: «Всё мерзостно, что вижу я вокруг, / Но как тебя покинуть, милый друг!». Ю. Лифшиц предельно экспрессивен: «Как дальше жить? Себя убил бы я... / О, если бы не ты, любовь моя!». В. Куприянов переводит эту экспрессию в разговорную речевую стихию: «Уж лучше сдохнуть! Но, избавясь сам, / Тебя, мой друг, я разве не предам?». А автору «закоса под Билла Шекспира» П. Сушкину уже нужен крайний эпатаж современного сленга: «Достатый в пень, я б дернул за стоп-кран, / Да без кента сопьется корефан».

Есть свои переводчики сонетов и у нас в Приморье. Андрей Кузнецов, специалист по эксплуатации самолетов и двигателей, работавший на авиационном предприятии «Прогресс» в Арсеньеве, в 1998 г. стал победителем всероссийского конкурса на лучший русский перевод 130-го сонета Шекспира, а в 2005 г. за перевод полного цикла шекспировских сонетов в конкурсе публикаций журнала «Дальний Восток» был удостоен 1-го места в номинации «Поэзия». Ирина Чупис, доктор физико-математических наук, до 1975 г. заведовавшая кафедрой теоретической физики в Дальневосточном государственном (теперь федеральном) университете, в 2002 г. опубликовала свои переводы шекспировских «Сонетов». Отзвуки странных мистических тайн звучат в переводах Александра Молокова. Интересны переводы, выполненные Мариной Маровской.

В этом процессе постоянно усложняющейся творческой многоликости современный Шекспир давно вышел за рамки конкретно-исторического лица и стал мифологически ёмким прототипом для всех своих соавторов, осуществляющих рецептивное «досотворение» его произведений в новом историко-культурном измерении. Это Шекспир, кем-то лично понятый, переведённый, истолкованный и представленный. И только такой Шекспир по-настоящему настоящий. Потому что – заново живой.

И в нашем дальневосточном краю, о котором хорошо сказал один из лучших приморских поэтов Юрий Кабанков – «на краю географии», Шекспир живёт. Бесконечно долго можно было бы рассказывать о шекспировских постановках на сценах приморских театров! Об актёрах: неподражаемом Н. Колофидине, сыгравшем главную роль в поставленном И. Ефремовым «Отелло», трепетно-вдохновенном Г. Апитине в «Ромео и Джульетте», неизменно убедительном Е. Шальникове в «Юлии Цезаре»; впечатляюще-гротескном В. Никитине в «Короле Ричарде». О режиссёрах: Е. Звениячком, изумившем буйством авангардистских театрально-карнавальных фантазий в поставленном им «Гамлете»; С. Мальцеве, так талантливо выплеснувшем на зрителя ренессансно-капустническую весёлость его «Двенадцатой ночи». О смелых сценических экспериментах, уверенно раздвигающих «края» этой нашей географии. В «Гамлете» Звенияцкого, например, главную роль несколько раз исполнял американский актер Филипп Снид. Свой текст он произносил на языке Шекспира – по-английски. Удивительно, но в эти

дни театр был особенно полон, а аплодисменты – особенно громкими и благодарными. А в Приморском драматическом театре молодёжи (в начале 1990-х он назывался камерным) американский режиссер Д. Эйчкомб поставил с нашей труппой спектакль «Сон в летнюю ночь», в котором Титанию играла американка Э. Вейн, и тоже на языке оригинала. Позднее, когда театр гастролировал в Анкоридже, американские зрители увидели в своём спектакле – естественно, англоязычном – нашу актрису Г. Копылову, исполнявшую эту роль по-русски.

Можно очень много говорить о том, как трепетно жива шекспировская тема у приморских поэтов. Колдовской волей лирической героини в поэтическом цикле «Город» Елены Васильевой «шуршат неистлевшие книги», и по всему понятно – это книги Шекспира, это его «стихов вековые печали». Глубокий философский смысл сообщает шекспировская аллюзия духовным стихам Юрия Кабанкова, автора книги «Камни преткновенные»: «Прости, Господь! Но это я миную, зане в подобных эмпиреях брода нет. Хотя – вот также, оборвав на полуслове кружение стихий (в составе крови есть элементы скорбные весьма...) Ты очертил себя незримою границей: как бы воздухом отделив сию страницу от собственно небесного письма. Самоубийце мысль моя знакома: когда обида зреет, как саркома, и поднебесная, как Дания, тесна...».

Понятно, почему о Шекспире особенно много говорят и пишут в этом году – юбилей! Но гораздо важнее размышлять о причинах бесконечной игры современной культуры с её прошлыми достижениями. Гораздо важнее убедиться в том, что нашим современникам по-прежнему нужны произведения человека, отдалённого от них и во времени, и в пространстве, и в типе ментальности. Очень люблю и не перестаю цитировать из ранних стихов Кабанкова: «Мы часто метим так высоко, / Что редко попадаем в цель. / Зачем в рабах шального рока / Звучит Шекспирова свирель?».

Александр
БЕЛЫХ

СТИХИ

ИЗ ДАУРСКОЙ ТЕТРАДИ

АБРИКОСЫ

Абрикосовые купавы –
В розовом цветении купаются
Чёрные сорочьи гнёзда...

ДЯТЕЛ В ТИГРОВИ

Снег украдкой прошёл...
Приумолк на ветке ольховой
Задолбленный дятел...

ЛАНДЫШИ

Ландыши завяли,
И всё же как благоухают сухо
Среди карандашей...

ВОДОМЕРКИ

Эк, раскуковалась кукушка –
Тридцать три раза улыбнулся родник,
Смутив влюблённых водомеров.

БЕЛАЯ СИРЕНЬ

Как хороша сирень,
В ознобе дымчато-белом, в дверях
Деревенского туалета...

ПОЦЕЛУИ

В кустах бузины цветущей
Расчирикались воробьи, будто разом
Пятьсот японцев целуются...

ГОРИХВОСТКА

...Вот же, звала-звала,
с подношением в клюве, жалобно так, а вышел –
Прочь упорхнула горихвостка...

• **Александр Белых (Вялых)** – поэт, прозаик, переводчик. Окончил Дальневосточный госуниверситет. Работал в Японии, учился в университете Колонизации Восточных Земель Китая в Токио. Публиковал переводы японской прозы и классической японской поэзии. Член русского отделения ПЕН-центра. Живет в Санкт-Петербурге.

РОМАШКИ

В овраге краснеет глина...
Мокрые мостки, жёлтые носочки,
Наивно цветут ромашки...

ОДУВАНЧИК

Изморозь на зелёном –
одуванчиковым снегом
припорошило травы...

БАБОЧКИ

На поваленной ольхе
Усыком не поведут в любовной неге
Две павлиньи глазки...

ЛЕСПЕДЕЦА

Слегла духота....
В пыли, под кустом леспедечи
Прилёг бетоноукладчик.

НА ЛЕСНОЙ ДОРОГЕ

Изысканной траекторией
Метнулся синий махаон, сбрызгивая семя
На свежевывмытые лужицы...

ЛУНА

Луна, наполненная до краёв...
Набирает цвет белая сирень,
Аромат будто вкрадывается...

БАКЛАЖАН

Одинокий баклажан...
Съесть тебя сразу, красавца,
Или ещё погрустишь?

ТРАУРНИЦА

Наперекор судьбе моей
Лети, лети вдоль жёлтой линии приборя
Траурница чернокрылая...

ПОЛНОЛУНИЕ

Экий луно-любодей,
Вокруг да около мулится, лапой до луны
Цап-царап, не дотянется...

ДОЖДЬ

Дождь, вкрадчивый,
У замочной скважины –
Ни гость, ни ворушка...

РЖАНКИ

Ржанки летят
За красную линию горизонта
К бухте Спасения...

УЛИЦА ПОКОСНАЯ

Застолье под сливами –
Предвестниками квантового перехода
Слетаются светляки...

АРТЕМИДА

Сатурния Артемида –
С трудом поднимает обтрёпанные крылья
Из дорожной грязи...

МАМА

Зачем умирала мама?
Уж лучше бы мыла оконную раму
И заглядывалась на облака...

ВОЛНА

В бухте Ливадия
Прядёт волна нескончаемую нить
Звуков прозрачно-белых...

СОБАЧЬЯ РАДОСТЬ

Осень. Уныло косится
На меня, грызущего косточку,
Собака, потерявшая клык...

ПОМИДОР НА БАЛКОНЕ

Спеша дозреть до заморозков,
Изо всех сил тужится осенний помидор
На сломанной веточке...

НА ОСТРОВАХ АМУРСКОГО ЗАЛИВА

Скалы Рейнеке –
Интрузивный магматический комплекс
Засижен бакланами...

ЛЮБОВНАЯ ПЕСНЯ

Луна округлилась –
Тяжела на закорках влюблённого
В дальней дороге...

ОТРАЖЕНИЕ

К изморози на стекле
Прильнула луна, сплющив нос –
Одна печаль на двоих...

МАЙСКИЙ СУП

Крапива, лук, кислица –
Руки жжёт, глаз мироточит...
А всё ж супец не жидок...

ПО МАЛОЙ НУЖДЕ

Нынче радует травка зелёная...
Ползёт улитка смышлёная,
Выпучив рожки на пробегающую собаку...

ГЛАДИОЛУСЫ

Заломав бордовые язычки,
гладиолусы лижут сырую землю.
Бесшумно прокатились росы.
В сосудах крепкого стебля
замирает медленная влага.

Бледный аромат над садом
будто ищет лоно своего цветка.
Луны полное ведро.
Речные разливы отражаются
стройным ясенем,
стерегущим одинокие звёзды.

ЖЕРЛЯНКИ

Посвящается Жану Анри Фабру

Жабы поют
жалобно.
Журчат жабы песни,
журчат нежно,
журчат вкрадчиво.
А пойду-ка к жабам!
Сквозь бурелом,
к жерлянкам.
Буду с жабами дружить, буду.
Буду жабам песни петь, буду.

Буду вместе с ними жить, буду.
Да добро наживать буду.
Счастьем делиться буду.
Икру жабью есть не буду,
нет, не буду,
не уговаривайте, не надо.
Буду лелеять,
буду холить жаб.
Живите жадно.
Любите долго.
Ворожба жабы звонка,
пронзает песня их
в сердце
колко-колко.

ИНФАНТ НЕЖНЫЙ

«Нефть, кровь земли, утечка...»
Болею, на столе шприц, дешевая аптечка.
Всё раздал, что было нажито.
Как мне жить без нефтяной скважины?

На улице осень, ни дождинок.
Я зарылся в постель, жую чёрствыи булки,
Отращиваю на щеках щетинки,
Собака покусывает блох в караулке.

На книгах, в углах коплю пылинки –
Скаредный, совсем стал скаредный.
Иголка ползает по пластинке,
Ворона каркает, песня заикается.

Я думаю про Вас, а сам плачу...
Эх, хорошо бы хорошо сочинить стишок
О том, как мальчик писает с перрона,
А него глядит глазастая ворона.

МОЯ ЭПИТАФИЯ

Жил-был кузнечик в стихах,
такой пострел неуёмный!
Стрекотал он впотьмах, пиликал,
да вот умер, бедняга, умер...

ОСЕНЬ

Как ласточки сегодня прытки,
над ухом крыльями шуршат!
Печаль пронзает толщу вод,
как ломкий луч осенний.

Ах, солнца жаркого ушат,
там и тут шныряют рыбки!
Деревья встали в хоровод,
Листва взлетает каруселью.
Пой, душа-печальница,
Радуйся, отечество, веселью!
Она сначала влюбится,
и, глядь, окуклиться спешит отчаянно,
с одышкой наперегонки.
Вот как в машину влупится,
О печаль моя, толстушка-гусеница!
Глоаю слёзы, словно пироги!

ИЗ ПОЭЗИИ КОРОЛЕВСТВА БОХАЙ

СЕО ИН

Ни святым, ни мудрецам,
кем бы ни были вы в этом мире,
смерти никому не дано избежать,
ибо мы, однажды рождённые,
ничто на Великом пути,
словно плавающие сорняки,
и наступит час неурочный,
когда с потоками бурных вод
по смерти мы схлынем навеки.

892 г.

ЯНГ ТАЙСА

Вчера на закате облако взошло драконом.
А сегодня поутру, когда прохладно, словно после снегопада,
Обернулось облако белым-белым журавлём.

С нежностью гляжу на кроны цветущих деревьев.
Не слышно робкого щебета, радостного весной.
Сквозь ветви проплывают тени божеств.

Где-то вдали простолюдин запекает песню.
Не в силах как будто ещё, всё же, преодолая хворобу,
Тянется-тянется к жизни немощная орхидея.

758 г.

Переложение с кит. А. Белых

Кира
ВРУБЛЕВСКАЯ

СТИХИ

ЮНОСТЬ

Белое платье, черная бровь,
косы уложены туго.
Я для мальчишек – еще не любовь,
но уже – не подруга.
Утром весенним иду и пою.
Мир – в многоликом сиянье.
И никого я пока не люблю:
вся я – любви ожиданье.

* * *

Плывет, плывет военный вальс...
И вновь я вспоминаю,
какая музыка лилась
в тот день победный мая.
Какой казалась нам весна
счастливой и веселой.
Как распахнули мы тогда
все окна нашей школы.
И не для нас звенел звонок –
мы отводили душу
и пели хором «Огонек»,
про Днепр, и про Катюшу,
И про дороги, что в пыли,
про лист зеленый клена,
и про солдат, что с песней шли
степями опаленными.
Была священной та война.
Тогда мы твердо знали,
что защищали нас страна,
и партия, и Сталин.
Бег времени необратим.
И музыка другая.
Но был для нас тогда таким
тот день победный мая.

• **Кира Врублевская (1930–2014)** родилась в г. Вильно (ныне Вильнюс, Литва). Окончила историко-филологический факультет Вильнюсского госуниверситета. В 1959 г. переезжает в Москву, учится в аспирантуре МГУ. С 1964 г. почти сорок лет работала в Магаданском государственном педагогическом институте (ныне Северо-Восточный государственный университет), преподавала историю. С ранних лет писала стихи, но никогда их не публиковала. Владела несколькими европейскими языками, в ее архиве обнаружены переводы из Гете, Рильке. Поэзия для нее была формой самовыражения, образом потаенной жизни. В 2014 г. вышла в свет книга стихов К. Врублевской «Моя кириллица». В ней размышления поэта о любви, о времени, о судьбе, философские раздумья о жизни и смерти.

* * *

В моем доме родном
изразцовая синяя печка,
пол дощатый покрыт
поистертым старинным ковром.
Там с портретов глядят
мои предки, ушедшие в вечность,
и березы шумят
под готическим узким окном.
Там остались: мое
бесконечно далекое детство,
слезы первой любви
и надежды, что жили во мне.
О, как хочется вновь,
к старой печке прильнувши, согреться
и щекой прикоснуться
к портретам на белой стене.

* * *

Эти улочки – словно метрический стих,
нарисованный тонким готическим шрифтом.
Что за люд населял их и царствовал в них,
предаваясь ремеслам, любви и молитвам?
Эти улочки – словно немецкий язык,
так дома их очерчены остро и точно.
Их читать может тот, кто к ним с детства привык,
а приедем здесь нужен поэт-переводчик.

* * *

Какие сны, какие сны,
меня недавно посещали...
Приснился мне разгул весны
и зеленеющие дали.
Неповторимый майский день
клонился нехотя к закату.
Сирень цвела, цвела сирень,
и расточала ароматы.
И ты стоял передо мной
в весенних красок переливах:
такой веселый, молодой,
такой влюбленный и красивый.

* * *

Я от жизни ласки не жду
и тебя ни о чем не прошу.
Словно в мертвом зимнем саду,
существую я и дышу.

Ни цветка, ни листочка... Остер
четкий абрис голых ветвей.
Но еще не погас костер
безнадежной любви моей.

* * *

Ты помнишь, как мороз крепчал
февральской ночью длинной,
когда меня ты целовал
на улочке старинной?
Как пела флейтой тишина,
как звезды тихо плыли,
как нам казалось, что тогда
друг друга мы любили?

* * *

Внешне мы чуточку похожи
с Мариною. Я понимаю:
она поэт – от Бога. Все же,
мне ближе, чем она, другая.
Та – в обрамленье черной челки,
в накинутой на плечи шали.
Та, чей, с горбинкой, профиль четкий
художники не раз писали.
Та, что оболгана молвою
и грубо названа блудницей.
Та, что под красною стеною
читала боль на женских лицах.
Та, что не мыслила отречься
от жизни и страны усталой.
Та, что стихи писала сердцем,
пока оно не отказало.

* * *

Я нашла себе отдушину:
читаю Тютчева и Пушкина,
читаю Лермонтова, Фета
и всех оставшихся поэтов.
Читаю выпренные оды,
читаю с Китса переводы,
читаю Бернса и Шекспира
и всех других поэтов мира.
Читаю бледных и румяных,
с изъянами и без изъянов,
читаю добрых и зловредных:
но никогда – Демьяна Бедного.

ПОЭТЫ

«Молчи, скрывайся и таи
и чувства, и мечты свои...»
Ф. Тютчев

И этот день – других не лучше.
Но под покровом темноты,
уйти мне помогает Тютчев
от беспредельной суеты.
Знакомый томик открывая,
у лампы старенькой сажусь,
и вновь «Silentium» повторяю
я как молитву наизусть.
И беспросветность отступает,
и в тишине светлеет ум;
и снова душу населяет
желанный мир «волшебных дум».

ЧИТАЯ АХМАДУЛИНУ...

В. В.

Пусть десять свечек изожгу я,
подряд две ночи просижу –
стихов, подобных ахмадулинским,
я никогда не напишу!
В них – старомодно-утонченных –
мысль потаенно-глубока,
в них – красота и изощренность,
и беспредельность языка.
Их смысл так библейски-тонок,
так необычно-незнаком...
Нет, не увидеть мне черемух
за измороженным окном!..

* * *

Булат, как жаль, что час настанет,
когда придется встретить смерть.
Тебя – не станет, нас – не станет,
кто твои песни будет петь?
Кто в этом мире воспаленном,
уставшем от пустой борьбы,
поймет, что значат для влюбленных
в холодном небе две звезды?
И кто в потоке бесконечном
словесной пошлой шелухи
сберечь сумеет человечность
и так, как ты, писать стихи?

* * *

О барды «первого призыва»,
в стандартных простеньких рубашках,
как вы царили горделиво
в сердцах неискушенных наших.
Как вдохновенно вы нас звали
за правду против лжи бороться.
И в наших душах возрождались
и доброта и благородство.
О барды «первого призыва»,
вам не кричали толпы «браво»...
Как ваши имена красивы:
Высоцкий, Галич, Окуджава.

ФАНТАЗИЯ НА ТЕМУ СТИХОТВОРЕНИЯ
Р. М. РИЛЬКЕ «ПАНТЕРА»

Мне снится сон загадочный и редкий:
я – в зоопарке. Город тихо спит.
Вокруг меня сомкнулись прутья клетки,
а в середине – гордо зверь лежит.
Скульптурны тела сильные изгибы,
а желтый глаз – нацелен на меня.
Мне б убежать, хоть это и красиво:
но воли нет. Она оглушена.
В последний раз на этот мирзираю:
поднялся зверь – и на меня идет.
Я этот образ запечатлеваю,
но он до сердца не дойдет.

«Скрещенье рук, скрещенье ног.
Судьбы скрещенье».
Б. Пастернак

У МГУ с тобой вдвоем
стоим. Как прежде.
И те же: зданье, водоем,
и воздух здешний.
За четверть века ввысь ушли
седые ели.
А мы с тобою, милый мой,
так постарели!
И тот же фотоаппарат...
Как символично!
И тот же твой с косинкой взгляд,
и жест привычный.
И только жизни наши – врозь.
И им не слиться.

Что было – с ветром унеслось,
не повторится.
Меня снимаешь ты опять
на прежнем фоне:
и у колонны боковой,
и у фронтона,
и там, где роща разрослась,
и у фонтанов...
Зачем я рано родилась?
Так рано.

* * *

Все это, видно, неспроста,
но как приятно:
На поле белое листа
ложатся пятна.
И я рисую не спеша
и неумело,
Но делом занята душа,
и руки – делом.
И пусть совсем таланта нет
и нет оснастки,
но возникает силуэт
из светлой краски.
Но возникает старый дом,
а дверь – закрыта.
Каштан любимый под окном
в тонах нефрита.
Все осмеют меня. И пусть.
Не жаль стараний.
На белый лист ложится грусть
воспоминаний.

* * *

Мне бы только успеть умереть
до того, как померкнут звезды,
до того, как атомный смерч
пронесется губительно-грозно,
до того, как земля замрет
и по жизни пройдут поминки...
И кругом – только пепел да лед.
Ни души. Ни зеленой травинки.
Мне бы только успеть умереть,
чтоб не видеть вселенскую смерть.



Майя
ЛИХОВОДОВ

НЕЛЛИ

ГЛАВА 1

Это было такое время, когда люди утоляли голод сном, а многие из них больше не просыпались. И тянулось оно долго – неблагополучие никуда не торопится. Мица запомнила из войны многое: паек из прессованных семечек, нервозный вой сирены, вмерзшие в землю трупы. И балет «Эсмеральда» – этих женщин на сцене, танцующих с такой легкостью, не придавленных тяжестью быта, взмывавших вверх в своих па, – словно голод им был не знаком. Это мать Мицы возвращалась домой с работы с окровавленными руками, примерзавшими к железным коробкам. А эти в пачках, они не понимали боли от холода, не знали варешек и порхали в таком пространстве, которое Мица могла только желать себе. После балета она рыдала. Не по привычке к страданию. Она рыдала оттого, что больше всего на свете ей хотелось сейчас чужой судьбы. Зависть – вот что случилось с маленькой Мицей. «Я хочу быть балериной», – сказала она матери. И мать пообещала ей, что запишет в кружок. Только после войны. Тогда все откладывали жизнь на потом.

Через три года войны не стало. Как забудет она: люди шли по улице, обнимались и плакали, а в воздухе сгустилась невыносимая торжественность, от которой ей почему-то было неловко. Толпа пульсировала счастьем. А еще через некоторое время мать исполнила обещание и повела Мицу записываться в кружок.

Так бывает, что судьба открывает не те двери, а потом люди живут рядом со своей жизнью, не встречаясь с ней. Так и мать Мицы ошиблась дверью. В неправильной комнате сидели аккуратные девочки в белых передничках и шили. Советское мамино сердце умилилось. И Мица научилась шить. А танцевать – нет.

И когда соки земли по всей стране истощались урожаями кукурузы, она встретила хорошего человека. Достаточно хорошего, чтобы выйти за него замуж, но все же не такого, чтобы любить. Муж старался над ней, как пахарь над своим полем,

• **Майя Лиховодов** родилась в Петербурге в 1985 г. Училась в вузах Петербурга и Герцлии. Живет в Израиле. Первая публикация (рассказ «Смерть Розы») состоялась в 2013 г. в литературном альманахе «Толстый» (Санкт-Петербург).

и Мица родила дочь. И нарекла ее Цеквой*. Муж сказал: «На какую жизнь ты обрекаешь своего ребенка?!». И назвал дочь Нелли. Так и началась ее история, женщины с двумя именами и заблудившейся на перепутье судьбой.

* * *

Как-то странно привозить на казнь в карете. В концлагерях у людей были огромные колени. Такими они казались на фоне их ног, усохших от голода до самых костей. А здесь была горячая вода, ванны и ресторан. Дивный лагерь для смертников. Дом, фасад которого может сравниться с кафелем на кухне – такой же функциональный и будничный. Сталин поступил разумно – собрал всех под одной крышей, чтобы пачками увозить на расстрел. Я же знала всего двух его жильцов. Один сошел с ума, а второй был депортирован. Но зато чудный вид на Неву из окон. Просто в камни впиталась смерть и до сих пор никак не выветрится. В этот дом Мица переехала с мужем через три года после рождения дочери. И начала жить.

Вот она ставит пластинку. Вот ждет кульминации, подставляя музыке всю свою душу. Звук набегает, окатывает ее, рассыпается в прах. Волна за волной. До слез. И в этот чудный момент Нелли тянет ее за подол, встает на цыпочки, задирает до ушей юбку и начинает кружиться.

– Цеква! – говорит мать. – Цеква!

Но ребенок продолжает кружиться. Оборот за оборотом, вместе с пластинкой, наматывая мелодию на себя. Она уже не отзовется на имя, ставшее ей чужим.

Вечером возвращается отец, утомленный другою женщиной и чувством стыда. Этой другой, такой же безнадежно замужней, он жалуется на Мицу и клянется в любви. Но когда Мица рядом, он исполнен нежности к ней, эта нежность терзает его и всякий раз приговаривает к семейной жизни. Стыд делает его податливым. И когда Мица говорит, что Нелли должна танцевать, что у нее талант, он только отвечает: «Конечно. Пусть танцует. Конечно».

Мица обрезает кусок тюля и шьет дочери юбку.

– Хочешь быть балериной?

И ребенок кивает. Ей нравится незнакомое слово. В нем есть буква «р».

На следующий день Мица отводит Нелли в огромный зал, где та смеется многим своим отражениям. Девочки повторяют движения тощей женщины, высоко взмахивают ногами и распластываются по полу в шпагатах. Нелли ошеломлена. Она не понимает, как можно преодолеть такую боль. И каждое движение ей трудно.

Через несколько месяцев тощая просит Мицу подойти к ней после занятия.

– Скоро будет концерт. Девочки будут выступать. Я не могу взять Нелли.

– ...?

– У нее... у нее нет таланта.

Мица смотрит прямо во впалые глаза тощей.

– Незачем травмировать ребенка. Вам лучше ее забрать.

– ნეტავ ჩამაღლდე, – говорит Мица.

Ночью она плачет.

* Цеква – танец (груз.).

** ნეტავ ჩამაღლდე – Чтоб ты сдохла (груз.).

– Ну прости меня, – говорит муж и прижимает ее к себе так плотно, что между их телами не остается пространства. – Я больше никогда, никогда не увижусь с ней, обещаю.

Так Мица узнает об измене мужа.

И когда их разговор иссякнет вместе с ночью, Мица попросит только одного. Частного учителя танцев для Нелли.

ГЛАВА 2

Вот Нелли семенит по улице, едва поспевая за широким шагом матери, которую она держит за указательный палец. Вот Мица звонит в дверь. Открывает женщина с постным лицом старой девы. Из тех дам, что носят шаль, чтобы подчеркнуть свою причастность к искусству. Нелли поражается, какие у нее высокие брови – под ними легко бы поместились еще одни глаза. Это новая учительница по хореографии. Она просит Нелли повторить движения. Как ни странно, каждая из них запомнила этот эпизод по-своему. В памяти учительницы Нелли беспомощно открыла рот, а выражение ее глаз потеряло всякий смысл. «Она потухла, сникла вся, совершенно не понимая, чего от нее хотят». Нелли помнит, что женщина приказала ей танцевать под музыку. А потом вдруг прервала, совсем внезапно, и подозвала к себе. «Повтори», – сказала четырехглазая. И начала стучать пальцами по крышке фортепиано. «А можно еще раз, пожалуйста?» – попросила Нелли. Нет, не для того, чтобы запомнить ритм. А для того, чтобы запомнить последовательность и скорость движения пальцев. На глаз. Ей и в голову не пришло связать это странное действие со звуком. А тем же вечером Мица рассказывала мужу, захлебываясь от восторга: «Она была так изящна, так дивно кружилась, прямо как перышко на ветру».

– У девочки, несомненно, большой талант. Ее Ports de Bras просто восхитительны, восхитительны! Нелли непременно должна заниматься как можно больше, – сказала хореограф. Именно так: «несомненно» и «непременно». Она отчаянно нуждалась в учениках.

Цеква глянула на Нелли из зеркала и встала в шестую позицию.

* * *

– Ну-ка расставь ноги. Пошире. Еще!

Учительница подошла к девочке, сильно нажала ей на плечи и вдавила ее в пол. Ноги Нелли расползлись в разные стороны. Ей показалось, что она вся треснула, как окошко соседки, в которое попал мяч, и стала рассыпаться осколками по полу. Нелли напряглась от мучительной боли, а комната помутнела от слез.

– Плакать ты будешь дома у мамы. А здесь – стараться. Поняла?

Позже, уже взрослая, Нелли будет лежать в постели с мужчиной (она оказалась там, потому что ей послышалось что-то французское в его имени) и вспоминать детство.

– У меня было счастливое детство, – скажет он. И начнет перечислять блага, занимательные, как список кораблей в Илиаде.

Что вспомнит Нелли? Что земля была близко к глазам. Она кишела насекомыми и дерьмом, о которых взрослые не подозревают с высоты своего роста. Все воняло. Она вспомнит постоянную тошноту. Вспомнит, как месила грязь в луже сапогом, а какая-то старая сука сделала ей замечание. Вспомнит острый стыд.

Мороженое, которого она так ждала, так ждала. Вожденная сладкая холодная масса. И вот мать покупает мороженое. А потом подогревает его на огне и наливает ей в чашку растопленный жидкий сироп. Чтобы не простудила горло. Разве это мороженое? Эта дрянь – мороженое? Детство – всегда обманутые ожидания. Хореограф – садистка, гнувшая ее в немыслимые позы до боли.

– Господи, да я даже не понимала, как можно танцевать под музыку. Как сложить вместе движение и такт. Я будто бы выпадала из мира, а принцип, по которому его вокруг меня возводили, был мне чужд. Нет, я не жила. Я выстрадывала идеи моей матушки, вот что я делала в детстве...

– Она заставила меня взяться за руки с другими детьми. Под носом моего соседа запеклась сопля. Как можно, почему, почему, если ты ребенок, тебе непременно нужно касаться чужих отвратительных тел?

– Мы не вырастаем людьми. Мы сплошное последствие череды наших детских травм...

А потом, обессиленная ненавистью, она уснет в постели того, с кем оказалась лишь потому, что ей послышалось что-то французское в его имени.

ГЛАВА 3

Только боль тела делает человека по-настоящему одиноким. Это душевное страдание можно раздробить на истории и постепенно раздать по знакомым. Но физическая боль неподвластна словам, ее не утолишь бесконечными пересказами. Тела сливаются разве что в описаниях акта любви. В жизни же самая непересекаемая граница – граница тела, в которое заключен весь человек. Боль невыразима, ею нельзя поделиться, она всякий раз разная, у каждого, поэтому схожий опыт здесь не помощник. Боль обособливает и отделяет от всего мира, обрекая на непоправимое одиночество.

* * *

Анжелика Павловна начала утро с косметической процедуры. Развела сахар в тазу, обмакнула в сиропе бинт и приложила к лодыжке. И когда бинт присох, стала отдирать его вместе с волосами. И кожей. А потом осела на пол, вытянула перед собой покрасневшие, кровоточащие голени и стала рассматривать их. Ей вспомнилась мертвая женщина, лежащая на улице вниз лицом. У нее были славные кудри и гребень в волосах. А она шла за руку с матерью, и гребень блестел на солнце, и так ей его захотелось, и она сказала: «Мамочка, ну пожалуйста, давай заберем гребешок у тети, ведь она мертвая». А мать ударила ее по лицу. Что было сил ударила и губу рассекла. А кожа теперь заживет, станет гладкой, блестящей. Только к чему? Мужа нет, на сцену ей уже не вернуться из-за трещины в кости. Да что там кость – вся жизнь трещина, яма, пропасть, гулкое падение в черноту. Забвение и жалость к себе, которую ни с кем не поделишь.

К вечеру пришли гости. Анжелика Павловна много шутила. Блестела лаковыми лодочками, от которых боль становилась острее, а с нею и шутки. Она сидела, ходила и стояла, как произведение искусства, всякий раз картинно сложив руки. И все любовались ее грацией, верно, не без зависти. А потом она вышла подышать воздухом на балкон, простым и скорым движением перемахнула через перила, без всякого изящества, и мешком рухнула вниз. Не убилась, но и преподавать больше не могла. А потому учительницы танцев у Нелли не стало.

* * *

Нелли не помнит, когда она первый раз испытала боль. Возможно, в самый момент рождения, отделившись от матери, как суша от моря, и приобретя свою собственную границу между телом и миром. Возможно. Она не помнит. Но страх остался с нею на всю жизнь.

* * *

– Что же ты не пойдешь, не поиграешь с другими детками?

– Я лучше посмотрю, – говорит Нелли. И смотрит.

Эти дети, они горстями хватают песок, лупят совочками по ведеркам, а падая, увлекают за собой других. В каждом их движении таится опасность. Это Мица умиляется детской возне, их непрочному сцеплению с почвой, но для Нелли они несут с собой боль. И расстояние до песочницы остается непройденным. Так будет и в школе. Она выучит их повадки. Она станет вжиматься в перила, когда они будут сбегать по лестницам, зная, что за первым непременно последуют еще такие же, нет, она не отойдет от перил, пока опасность не пробежит мимо нее вся, до последнего человека. Она будет ждать, чтобы они зашли в класс, убеждая свое хрупкое тело от их локтей. И будет чужой им до насмешек, и не заведет себе друзей среди них. Ее начнут дразнить, все в ней станет причиной для злости, даже смуглость ее кожи. И это на фоне агитационных плакатов о вечной дружбе народов, на которых дети с такими тяжелыми лицами, с такими глазами, в которые больно смотреть и нельзя отвести взгляд.

* * *

Последний тур. В приемной комиссии сидят две женщины, одна жеманно держит шаль тонкой рукою, вторая сложила обе кисти на одном плече. Господи, они все одинаковы, как приветственные речи на первое сентября.

Нелли взлетает вверх, будто бы лишившись земного притяжения... Она танцует всем телом и каждым пальцем, и каждым мускулом лица. Она страдает своей танец. Он о боли. Обо всей боли, что пришла на нее за многие балетные годы с четырехглазой. И еще о той, что оскаливается на нее каждый день в холодной гулкости школьного коридора. И вот она неточно приземляется на носки, теряет баланс и в оцепенении застывает перед этими двумя.

Мица ходит проверять списки прошедших каждый день, начав за три дня до обещанной даты. На третий день она возвращается домой в слезах.

– Нелли, Нелли... девочка моя...

Они обнимаются. Потом прижимаются друг к другу еще плотнее. И до изнеможения пересказывают, как волновались, пока волнение не превратится в слова, за которыми больше ничего нет.

Нелли поступила. В хореографическое училище. Поступила. Немыслимо.

Мица и Нелли относят цветы в палату Анжелики Павловны. Спрашивают: «Как вы?»

Боль тела не расскажешь словами. Но ее можно выразить движением. И учительница прижимает руку к забинтованному плечу. И делает это так, что спрашивать более ничего не надо.

– Нелли приняли в Ленинградское хореографическое училище. Анжелика Павловна! Мы так вам благодарны...

Девочка берет женщину за здоровую руку, и они обе смеются. Так смеются. Каждая через свою боль.

ГЛАВА 4

Нелли, дорогая, тебе не придется больше плакать в этой главе, потому что я беру тебя за руку и веду к этим тоненьким девочкам. Их плоть тоже измучена четырехглазыми в шалях. Эти девочки, они всегда осторожны с границами тел других, тебе нечего больше бояться. Через все главы я вела тебя в этот зал с зеркалами. Ты спрашиваешь, почему тебе исполнилось десять только через пятнадцать лет со дня твоего рождения. Ты винишь меня в своем затянувшемся детстве. Поверь, я тут ни при чем, тогда время текло так, застоявшись, я, помнится, говорила, что трудным временам чужда спешка.

Мица, не поддавайся соблазну видеть высший замысел в цепочке событий. Да, если бы Анжелика Павловна не перемахнула вдруг через перила балкона, тебе не пришлось бы искать ей замену. Возможно, Нелли никогда бы не оказалась в этой самой полоске света именно в этом зале в эту секунду. Но не благодари за это Бога, в которого ты все равно не веришь. Это я привела ее. Тем более что развязка тебе неведома.

* * *

Вот Нелли. Вот полоска света. Вот зеркала. К ней спиной стоит девочка, ее волосы источают тусклый запах цветов. Нелли вся подается вперед, чтобы распробовать запах, но девочка вдруг оборачивается. Она испугана, отчего это кто-то приблизился к ней настолько, что нарушил ее пространство.. Нелли испугана еще больше. Боже, как ей неловко, она не знает теперь, что делать, что сказать, ее щеки краснеют, а руки начинают дрожать. Эта фарфоровая девочка, с шелковыми жидкими волосами, собранными в плотную кичку до боли, она ли не знает, что такое стыд, и как это вспоминать одно и то же мгновение раз за разом, по кругу, желая, чтобы оно никогда не случилось... Она видит, каково сейчас Нелли, и ей становится так ее жаль, так жаль, что она начинает вдруг говорить что-то, чтобы сгладить неловкость и исправить повисшее между ними молчание. И еще до того, как в класс войдет хореограф, они уже будут смеяться, называя друг друга по имени. А в конце занятий Нелли сядет с ней на трамвай, чтобы доехать куда-то, куда ей не нужно, но чтоб эта вторая знала, как она, Нелли, ей благодарна.

Потом они будут обмениваться записочками (отчего-то девочки обмениваются записками, хотя в этом нет никакой надобности), провожать друг друга, часами прощаться на остановке и избывать свое одиночество вместе. Что ей эти полтора часа у станка, что ей прохожие, кажущиеся такими свободными из стен этого зала, если потом они вместе пойдут на остановку, безостановочно сопереживая друг другу.

Мица скажет мужу:

– Посмотри, как Нелли счастлива. А ведь это я распознала в ней талант.

Да, да, конечно, матери всегда знают своих детей.

Но Нелли и вправду счастлива. Совершенно счастлива. До самого конца этой главы.

ГЛАВА 5

– Ты почему носки не тянешь? Нелли, я с тобой разговариваю. Я здесь что, просто так стою? Может быть, мне уйти, а, Нелли? А ты здесь будешь делать что хочешь, вот так вот безобразно держать кисти. Ты вообще не стараешься. Не хочешь – иди домой. Здесь тебя никто силой держать не будет. Да, милая моя, балет – это тебе не просто так. Это тяжелый труд. А ты носки тянуть не хочешь. Тебе не стыдно самой-то?

Нелли прислушалась к себе. Ей не было стыдно. Ей больше не было стыдно! Так она поняла, что повзрослела.

* * *

На следующий день умер вождь. Потом вожди умирали по одному в год, пока все не закончилось. Последнего страна хоронила совсем буднично. Привыкли.

* * *

Мица говорила Нелли:

– Ты должна беречь свою честь. Иначе никогда не выйдешь замуж.

Или:

– Ты должна беречь свою честь. Иначе никогда не выйдешь замуж.

Или даже так:

– Ты должна беречь свою честь. Иначе никогда не выйдешь замуж.

А потом она пускалась в пространные рассуждения о нравственности. Женщинам, безразличным к своей плоти, просто рассуждать о таких материях. Они не отягощены страстью и пластмассово ласкают своих мужей. Нелли же судьба одарила врожденным пороком.

* * *

Вот одно из самых ярких ее воспоминаний: женщина с красными губами и голубыми глазами глубоко затягивается сигаретой. Такая красивая, такая белая. А потом складывает губы в трубочку и долго выпускает дым. Ее лицо – нежная белизна, оно будто ненастоящее и сейчас тоже испарится в небо вместе со струйкой дыма. Нелли умоляет мать позволить ей закурить. Попытки бесплодны. И тогда она ложится в лужу, там же, на глазах у красивой женщины, сокращаясь в рыданиях до конвульсий и расплескивая вокруг себя грязную влагу. Мица стоит над ней и, не поддаваясь раздражению, ждет затишья. Закурить не дадут. Нужно действовать втихомолку.

Нелли ждет холодов, а затем отрывает кусок листа из папиной записной книжки, сворачивает его в трубочку и, пока мать занята разговором, прячется за дерево, пытается курить. То есть это она выдыхает в морозный день, проверяя, идет ли пар, а затем кладет свою самокрутку в рот и дует в нее изо всех сил. Пара нет.

Вот она пробует еще раз. И еще. Но, увы, отверстие слишком мало, да и листок в линейку едва ли похож на настоящую сигарету. Как она расстроена! Ее губы дрожат. И она клянется себе, из самой глубины души клянется, что обязательно закурит, когда будет большой.

Лежа в постели с этим самым, в чем-то французом, она будет перемежать разговор кашлем, выпуская дым в потолок. Она мечтала курить с трех лет. С момента переезда в населенный чужими смертями дом. Дети вовсе не так невинны.

* * *

Она лишалась девственности дважды. Один раз как Цеква и один – как Нелли.

Первый раз пришелся на дачное лето. Соседский юноша, дивно сложенный, водил ее смотреть гладь залива. Просмотр воды перетек в отчаянное сжимание рук друг друга, а затем в поцелуи. Ночью Цекве мешал спать шорох, тревожный скрежет, поселившийся в углу ее комнаты. Мица поставила мышеловку.

В один из дней юноша коснулся груди Цеквы, а она не убрала его руку. Он сказал, что любовь нуждается в доказательствах. И что они будут вместе навеки. Так и сказал:

– Мы будем вместе навеки, клянусь.

Ночь выдалась беспокойней обычного. Скрежет усилился, к тому же необра- тимость иных поступков волнительна.

На следующий день они встретили на пляже женщину. Красивую женщину в платье из тонкой ткани. Она улыбнулась юноше, а Цекве сделалось больно. Цеква подумала: «Эта женщина, она такая взрослая, верно, мне нечего волноваться». И поцеловала возлюбленного, обозначив свое присутствие в его жизни. Вечером, когда родителей не было, они долго возились в его постели. Меньше всего это походило на любовь. Вся пришедшаяся на нее до этого боль показалась Цекве ничтожной. Потом они долго молчали, между ними воцарилось какое-то непоправимое смущение. Позже она будет вспоминать этот момент раз за разом, по кругу, желая, чтобы он никогда с ней не случался.

Ночью Цеква проснулась от звука разрывающихся обоев. Из черноты щели в ее комнату влетела птица и начала кружиться, ошеломленная освобождением. На следующий день вся семья обсуждала событие, изумляясь тому, что птенцу удалось выжить. А юноша не появился в обещанный час.

Она увидела его спустя несколько дней, вместе с женщиной в платье из тонкой ткани, теперь другом. И он подошел. Подошел и сказал:

– Извини. Просто понимаешь, она опытная.

Тогда Цеква поняла. Чтобы выйти замуж, нужна не честь. Нужен опыт.

Нелли познакомилась с молодым человеком на скамейке в парке. Через два часа движение их тел скрывали найденные кусты. Нелли удивилась острой боли. А тот, что был над ней, – ее легкомысленности. Только и всего.

ГЛАВА 6

Страна стала разноцветной и хрупкой от наводнивших ее китайских подделок. Люди утопали и исчезали в яркой непрочности этих времен.

* * *

– Юрий Григорьевич! Юрий Григорьевич, подождите...

Нелли бежит по лестнице.

– Юрий Григорьевич, никто так не станцует Эсмеральду, как я, понимаете? Эта роль – это моя роль...

– Дорогая моя, а вы понимаете, чем мертвое животное отличается от спящего? Мне не нужна ваша техника. Я хочу, чтобы у танца была душа. Ваше исполнение совершенно тусклое. Мертвое. Вы едва тянете на второй состав. И я очень спешу.

– Юрий Григорьевич...

– Нелли, оставьте меня в покое. Поищите лучше себе занятие по способностям.

Вот так. По способностям. Нелли садится на лестницу. Кладет голову на руки и сидит так. Бездвижно. Будто бы заснула. Или умерла. В непрочные времена все рушится.

* * *

Она влюбляется. Правда, в его лице таится неуловимый изъян. Что-то нехорошее прячется в глубоких носогубных складках. Через месяц он откроет ей дверь. С ним что-то не так. Он тяжелый, он с каждым движением стремится к земле. От него пахнет спиртом. Квартира в бутылках. Нелли уходит к другому, а он – в запой.

Этот другой, вот, они почти уже любят друг друга. Он даже ведет ее знакомиться с матерью, очень волнуется. Дверь открывает старуха.

Нет, дурной характер не приходит со старостью. Старость только усугубляет уродство души, выворачивает наизнанку все недостатки, не маскируя их более сносной для глаз оболочкой. Приветствие дается старухе с трудом. Она пропускает его через сжатые губы вместе со своим трудным дыханием. Ставит на стол еду.

– Еврейка?

– Простите?

– Я спрашиваю, ты еврейка?

– Нет.

– А кто?

– Грузинка.

Старуха поджимает губу. И больше не произносит ни слова.

Потом приносит пирожные. Всего два. Он говорит:

– Правильно, балерина должна следить за фигурой.

– ნეტავ ჩაბაღღე*, – говорит Нелли.

Единственная фраза, которую она знает по-грузински.

Глава 7

Она влюбляется. Он женат.

* Чтоб ты сдохла (груз.).

* * *

Нелли смотрит в зеркало. Ей сорок. Мужа нет, на сцену уже не вернуться. Вся жизнь трещина, яма, пропасть, гулкое падение в черноту.

* * *

Анжелика Павловна почти не ходит. Каждую ночь смерть стоит у ее кровати. Она капризна. Нет, дурной характер не следствие старости.

Анжелика Павловна требует отвезти ее на концерт, выступает испанка, танцует фламенко, все говорят, что страсть ей удастся.

– Хочу музыки, хочу танцев, – говорит старушка, обременяя собой детей сестры.

Вот испанка на сцене, вот она взмахивает рукой. Господи, сколько должна отстрадать душа, чтобы один только взмах рукой веял целой историей. Она танцует каждым мускулом, каждым пальцем, действительно, она знает страсть наизусть, в ее движениях читается опыт женщины, шедшей на эту сцену через всю жизнь.

После концерта Анжелика Павловна требует подвести ее к сцене – она непременно должна вручить танцовщице цветы, у испанки, несомненно, большой талант. Именно так: «непременно» и «несомненно».

Ее волочат, она вцепилась пальцами в терпеливые руки чужих детей. Она протягивает букет. Заглядывает в лицо танцовщице и обмирает.

– Нелли, – говорит она. – Нелли!

Но та не отзывается на звуки имени, ставшего ей чужим.

Вот за этим я привела тебя в ту секунду в ту полоску света, Нелли. Посмотри, как ревет зал. Посмотри, как ты ими любима.

Мица, наверное, ты права – за событиями всегда стоит чей-то замысел.

Нелли любима. Нелли танцует. Ей пятьдесят. Немыслимо. Просто невысказано.

ОДИН ЗИМНИЙ ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ КОЛЬКИ-ФУРАЖКИ

Отрывной календарь, висевший в комнате, где проснулся Колька, остался всего с несколькими листочками – заканчивался декабрь 1959 года. Стояли обычные для этого времени тридцатиградусные сибирские морозы, затянувшие окна сказочными узорами, сквозь которые уже начал пробиваться самый короткий зимний день.

Рядом с Колькиной кроватью, в маленькой детской люльке посапывает младшая сестрёнка Надя. В этой же комнате за большим двухстворчатым шкафом спят отец с матерью. Несмотря на воскресный день, они уже на ногах и хлопочут по хозяйству. Ещё год назад на месте шкафа стояла кровать старших братьев, но Сашку в этом году забрали в армию, а Виктор, наоборот, отслужив три года, женился и переехал в другой посёлок.

Дом, в котором проживает Колькина семья, почему-то все в посёлке называют «финским», и предназначен он для двух хозяев. С одного торца хозяйничает семья Овечкиных, с другого – Колькина. Овечкин с отцом работают на железной дороге: один бригадиром, другой – путевым обходчиком. Бригадир – старший на этом железнодорожном полустанке, и у него в доме имеется даже телефон, один на два десятка семей. Обе комнаты Колькиных родителей обставлены мебелью, сделанной в соседнем лагере для заключённых, выглядят очень скромно, впрочем, как и жильё других семей железнодорожников, проживающих на этом полустанке под названием «37 км».

В комнате, где проснулся Колька, на тумбочке, в углу стоит радиоприёмник «Родина» с двумя большими аккумуляторами, потому как электричества в посёлке нет. Отец включает его только по праздникам и выходным дням, а Кольке подходить к нему строго запрещено. Место по одну сторону от радиоприёмника занимает прялка, доставшаяся маме от бабушки, по другую – швейная машинка «Зингер», которая, по словам матери, является самой дорогой вещью в доме, так как обшивает всю семью. В центре комнаты стоит круглый стол, за которым отмечают праздники и зимними субботними вечерами собираются соседи поиграть в карты или лото. Над столом подвешена большая керосиновая лампа. Напротив печки занял место

• **Николай Лелеков** – горный инженер. Родился в Красноярском крае, окончил Красноярский институт цветных металлов и Академию народного хозяйства при Совете Министров СССР. Работал на горных предприятиях Колымы: возглавлял рудник «Дукат», Сусуманский горно-обогатительный комбинат, в 1990-х гг. – первый зам. генерального директора объединения «Забайкалзолото». Первая публикация в «Красноярской газете» (2014). Живет в Республике Беларусь.

огромный, обитый железом сундук, переехавший в дом родителей вместе с дедом Григорием после смерти бабушки три года назад. В сундуке хранится вся выходная одежда деда и родителей, которой они пользуются только в праздничные дни или когда ездят поездом в другие посёлки по важным делам. Этот же сундук Колька с сентября использует вместо стола для приготовления школьных домашних заданий, ловко подставив к нему табуретку и установив стеклянную чернильницу на его ровную отполированную крышку. Он в этом году пошёл в первый класс, поэтому крышку сундука и этажерку для книжек и тетрадей, которая была прибита рядом, родители отвели ему в их небольшой квартире. Эту этажерку отец изготовил сам в соседнем посёлке, где родился Колька, и откуда перебралась его семья несколько лет назад на этот железнодорожный полустанок – новое место работы отца.

Колька проснулся рано, а ведь вчера вечером, когда мама, накормив семью печёной в духовке картошкой, задула керосиновую лампу, он ещё долго читал новую книжку, укрывшись с головой одеялом и включив карманный фонарик. Его кровать стоит у протопленной с вечера печки, но за ночь дом выстудился, поэтому проснувшись, он вновь залез под одеяло и погрузился в неведомый ему мир с необитаемым островом. Читать Кольку к семи годам научил дед Григорий, он же и подобрал ему эту интересную книжку в школьной библиотеке. Колька деда побаивался, но считал, что ему очень повезло, когда тот после смерти бабушки переехал к ним на полустанок: ведь мама даже писать не умеет, а у отца совсем нет времени заниматься с ним, так как «у него очень ответственная работа и всё хозяйство в доме на его плечах». Колька и без мамы знает, что работа у отца самая главная в посёлке: он каждый день осматривает десятикилометровый участок железной дороги, чтобы поезда, постоянно проходящие мимо окон их дома, не сходили с рельсов. Каждое утро отец набрасывает на плечи ремень с прикрепленными к нему двумя флажками – красным и жёлтым, сумочкой с красными петардами, за спиной крепит огромный ключ с молотком и отправляется на работу. Прошлым летом отец брал его с собой, но, прошагав по шпалам двадцать километров, Колька еле добрался до дома и ещё раз убедился, что работа путевого обходчика очень важная, но слишком тяжёлая, и решил, что будет учиться на «лётчика» или «моряка».

А вот насчёт того, что всё хозяйство в их доме «на плечах» отца, Колька с мамой согласиться не может – ведь он тоже помогает по дому и не представляет, что бы делали родители без этой его помощи. Прошлым летом он каждое утро провожал двух коров и быка Мишку до поселкового стада, присматривал за конём Степаном, который пасся рядом с домом, привязанный длинной верёвкой к железному лому, вбитому в землю. Правда, на тот случай, если Колька «проворонит» Степана, отец спутывал коню передние ноги, чтобы он не убежал в соседний посёлок на «конпарк» к другим лошадям, что происходило уже дважды. А ведь кроме этого мама, чтобы сын «не бил баклуши», как его дружок Петька, добавила к его обязанностям обеспечение молодой зелёной травой двух телят, родившихся этой зимой, а также обязала его каждый день приносить мешок больших листьев – «пучки», которые она рубит для свиней в деревянном корыте. Уже сам к этим обязанностям Колька добавил ещё одну: каждый день после обеда он собирает в курятнике яйца.

Сегодня воскресенье – выходной, в школу собираться не надо – лежи под одеялом и читай хоть весь день. Но почему-то именно в воскресенье, как заметил

Колька, он всегда просыпается рано и спать ему не хочется. А вот с понедельника мама будет поднимать его в школу, только напомнив о широком солдатском ремне, который занимает самое почётное место в доме, рядом с большой иконой, висящей в углу комнаты. Это место для ремня выбрано мамой не случайно.

Пока дед Григорий не переехал в их семью, маме приходилось часто оставлять четырёхлетнего Кольку в доме за старшего, присматривать за сестрёнкой, когда она отлучалась к поезду, где с прицепного вагона покупала продукты и керосин, так как своего магазина в посёлке не было. После одной такой отлучки, когда Колька спалил все спички и чуть не сжёг дом, мама перед каждым уходом стала строго наказывать ему, чтобы он не шкодил, и предупреждала: большая икона в углу – живая, и всё ей рассказывает, когда она возвращается домой. Колька для проверки слов матери ходил из одного угла в другой, в третий, и глаза с иконы следили за ним, отчего ему становилось не по себе, и он уходил в соседнюю комнату. Подумав несколько дней, Колька нашёл выход: когда мама в очередной раз отлучилась к поезду, он поставил две табуретки одна на другую и накрыл того, кто подглядывает и ябедничает маме, большой скатертью со стола, а к ее возвращению привел все в порядок. Теперь мама не узнает, что он за это время успел послушать радио, попробовать на её швейной машинке покрутить педали и разыскать даже мамин узелок в чемодане под кроватью, где она держит деньги. Конфет, правда, на этот раз он не нашёл. Узнав про его хитрости, мама и повесила этот солдатский ремень с большой звездой на пряжке рядом с иконой, чтобы Колька постоянно помнил о нём.

Этим ремнём ни отец, ни дед никогда не пользовались, а мама пустила его в ход только один раз, три месяца назад, когда он пошёл в первый класс. Ребята постарше уговорили его «стырить» у отца две красные петарды, чтобы проверить, как они сработают под проходящими поездами. До этого случая Колька со своими друзьями уже клали на рельсы медные пятаки, коробки со спичками, но это разве сравнится с настоящими петардами! Старший из колькиных друзей – Петька, по прозвищу Бычок, прикрепил петарды к рельсам, предварительно приложив к ним ухо, и прошептал: «Идет!» Вся ватага пацанов спряталась за железнодорожной насыпью. Бабахнуло как из ружья, и состав, груженный лесом, замедлил ход и остановился. Все бросились врассыпную. Когда через несколько дней разобрались, откуда взялись петарды на рельсах, отца наказали, лишив премии, и теперь, как сказала мама, «Кольке не видать к лету ботинок, как своих ушей». Но главное, по вине того, «который висит рядом с иконой», он несколько дней не ходил в школу – не мог сидеть за партой. За воровство в их доме наказывали строго, и Колька впервые узнал «вкус» солдатского ремня.

Теперь по утрам ему хватало одного взгляда в сторону иконы, чтобы вспомнить: он уже школьник, ходит в первый класс и что «учиться для него так же важно, как отцу ходить на работу». С таким напутствием мамы, накинув ранец с книжками и тетрадками на плечи, он отправлялся шесть дней в неделю на другой конец посёлка в начальную школу, где учились всего четырнадцать человек с первого по четвёртый класс.

В комнате, которую родители называют кухней, хотя там стоит кровать деда Григория, уже громко потрескивают сухие дрова – значит, отец растопил печку. Другую комнату, где спят Колька и его младшая сестрёнка, отделяла от кухни только матерчатая занавеска, через которую, подрагивая, пробивалось пламя от керосиновой лампы, и слышался негромкий разговор отца и деда. Мамы слышно

не было, она в это время доит корову Майку, которую дед вместе с конём Степаном перевёз в их семью три года назад. Другая корова, Зойка, уже не доилась, все ждали, когда она отелится.

Колька не зря прислушивался к разговору отца с дедом, высунув голову из-под одеяла, на то была серьёзная причина: ведь вчера он со своим дружкой опять, как выражается дед Григорий, «натворил дел» в школе.

На большой перемене, выпустив штанины брюк поверх валенок, чтобы за голенище не попадал снег, они с другом Вовкой, как обычно, проверяли с десятком петель из проволоки, поставленных на заячьих тропах сразу за железной дорогой в густых зарослях молодой лозы. Железная дорога от школы находилась всего в ста метрах, поэтому за полчаса, пока длилась большая перемена, они управлялись и на урок не опаздывали. Обычно, когда заяц попадал в петлю (а с осени они уже поймали нескольких), он к утру на морозе околевал, а в этот раз впервые заяц в петле бился живым. Вовка старше Кольки на два года, учился в третьем классе, взял инициативу в свои руки и приказал ему держать передние ноги зайца, а сам ухватился за задние. Так и принесли добычу в класс. Урок уже начался, и учительница Наталья Григорьевна, которая никогда раньше ничего подобного не видела, не просчитав последствий, приказала: «Мальчики, отпустите зайчика!» Заяц, почувствовав свободу, в два прыжка по партам сиганул на свет, к окнам: посыпались разбитые стёкла. Рамы были двойными, убежать ему не удавалось, но он раз за разом бился о рамы, падал, приходил в себя и вновь делал попытку уйти на свободу через окно. Всем классом сумели загнать зайца в коридор, здесь Вовка его «скрутил» и запихнул в мешок из-под картошки, который одолжила ему растерянная Наталья Григорьевна. Добычу Колька с дружкой сохранили, но вот последствия для них вырисовались незавидные: ведь весь пол в классе был усыпан битым стеклом, а учительница сразу отправила их домой, чтобы немедленно привели отцов.

Под потрескивание поленьев в печке отец, вернувшийся ночью из школы, рассказывал деду вчерашнюю историю про зайца, сокрушаясь, что выходной день пропал и что к обеду необходимо опять идти в школу, так как они с Вовкиным отцом работу не закончили, хоть и вставляли стёкла до полуночи.

Подслушав разговор, Колька успокоился: похоже, на этот раз пронесло, учительница всю вину взяла на себя, и родители не собираются воспользоваться главным воспитательным «аргументом» в их доме, который затаился у иконы. Правда, радоваться ещё было рано, ведь Колька не знал, чем закончился вчерашний день для Вовки, у которого в доме, на таком же гвозде, только прямо у входа, висел не ремень, а бич, которым провозжали коров в стадо.

С кухни потянуло дымком отцовских папирос, к нему добавился резкий запах дедовского табака-самосада, который он хранил в кисете вместе с аккуратно порванной газетой. Запах папирос и табака смешивался с кислым запахом бражки, которая бродила в специальной бочке и стояла на русской печи, укрытая одеялом. Приближался Новый год, и из этой бражки отец на днях будет гнать самогон. Колька не видел, но знал, что курят отец с дедом в приоткрытую дверцу печки, чтобы скрыть свою вольность от мамы, запрещавшей курить в доме.

Колька в свои семь лет уже успел попробовать отцовские папиросы «Прибой» и «Север», дедовскую махорку и даже папиросы «Беломорканал», которые курили старшие братья, но когда мама впервые унюхала от него запах табака и предупредила, что «прибьёт, если ещё хоть раз повторится», то он не стал ис-

пытывать судьбу и больше не пробовал. Правда, изредка, по одной папиресе из отцовских пачек, подворовывал курево для своих старших друзей.

Послышались шаги в коридоре: мама вошла в дом, принесла с собой морозный воздух. Слышно было, как она поставила подойник на стол, как начала процеживать молоко в крынки, при этом не забыв упрекнуть отца с дедом, что они «опять травят детей табачным дымом». К запаху сосновых поленьев, табака, бражки добавился аромат парного молока. Подали голос две кошки, которые тёрлись о мамины ноги и мурлыкали в два голоса.

В Колькиной семье начинался обычный зимний воскресный день. Стёкла окон посветлели, тепло от печки наполняло дом, керосиновую лампу на кухне мама задула, и Колька решил, что пора справить малую нужду в ведро, которое в большие морозы ставили у порога входной двери. На обратном пути мама заставила его выпить кружку парного молока и попросила полежать в кровати тихо, чтобы не разбудить сестрёнку, пока она натрёт драники – обычное блюдо к завтраку по выходным дням, а к обеду обязательно напечёт сушек, тесто для которых стоит на печке с вечера в большой кастрюле. Колька с сестрёнкой очень любят есть драники прямо со сковороды, хрустящими, запивая молоком. А деду с отцом к драникам мама жарит целую сковороду сала с луком.

Прошмыгнуть из кухни мимо деда Григория Кольке не удалось. Дед взял его под мышки и посадил к себе на колени. Поглаживая бороду широкой ладонью с прокуренными жёлтыми пальцами, приказал: «Ну что, Фуражка, давай рассказывай, что ты со своим дружкой Хохлом опять натворил в школе». Дед любит называть Кольку и всех его друзей не по именам, а по прозвищам, которые имеют не только все ребята, но и большинство взрослого населения посёлка. Колька понимает, что дед Григорий хитрит и таким образом «примазывается» к его друзьям, которые общаются между собой исключительно по прозвищам, а вспоминают, как их зовут на самом деле, только в школе, когда учительница вызывает к доске, называя фамилию и имя.

Прозвища у большинства пацанов происходят от их фамилий: если Логинов, то «Логин», если Романенко, то «Рома». А его самого закадычного дружка Вовку Сахно не зря прозвали Хохлом, потому что его родители разговаривают на украинском языке, и Вовка обращается к отцу не как все пацаны в посёлке «папа», а по-украински «тато». Другого Колькиного дружка, Петьку Подрезова, прозвали Бычком. Он из многодетной семьи, которая проживает на другой стороне улицы напротив нашего дома. Они не держат даже корову и, по словам Колькиной матери, «живут на одной картошке». Когда в посёлке в очередной раз пропадает собака, то все «грешат» на Петькину семью. В прошлом году Петька окончил четыре класса, учиться дальше не захотел и целыми днями шлялся по посёлку в поисках окурков и пропитания. Все его в посёлке жалеют, а его младших братьев и сестёр подкармливают, приглашая в дом. В двенадцать лет Петька курит в открытую и в основном окурки, которые друзья втихаря для него приворовывают у своих родителей. Поэтому его называют Бычком.

В свои семь лет Колька может объяснить происхождение прозвищ всех своих друзей, но до последнего времени никак не мог понять, почему все в посёлке с малых лет зовут его Колькой-Фуражкой – ведь фуражки летом носят все пацаны, правда, такой, как у него, больше нет ни у кого. Ему отдал её отец, когда получил новую, была она поношенной и выцветшей, но зато с кокардой и чёрным блестящим ремешком, который Колька натягивал на подбородок, когда приходилось

от кого-нибудь убежать. В их таёжном посёлке летом главной бедой считаются комары и мошка. Невозможно находиться по вечерам на улице без накомарника, предварительно не намазавшись специальной мазью или дёгтем. Для отпугивания этой кровососущей твари во всех дворах круглые сутки дымят в железных бочках «дымокуры».

Этим летом в гости к родителям приезжал старший брат, и на просьбу Кольки объяснить происхождение его прозвища он лишь улыбался и говорил, что тот ещё мал и не поймёт. Но под настойчивым натиском брат сдался. Оказалось, когда отец еще носил Кольку на плечах, он на остановке поезда, где собирается почти всё население поселка, громко прокричал, обращаясь к отцу: «Папа, папа, у тебя на фуражке комары насосались». Учитывая его возраст, слово «фуражка» превратилось в «хуяшку», отчего слышавшие это разразились смехом, и с тех пор, как пояснил брат, он и получил прозвище Фуражка. И хотя брат сомневался, Колька хорошо понял происхождение своей клички.

Одновременно с поеданием драников обсуждались семейные дела: закончился овёс для Степана, и за ним необходимо до Нового года съездить в соседний посёлок на «конпарк» к «бесконвойникам», чтобы выменять несколько мешков на чай и водку. К семи годам Колька не только хорошо читал, но и легко ориентировался в словах: «зэк», «зона», «этап», «побег», «бесконвойник», «столыпинский вагон» – ведь его отец и отцы его друзей тоже недавно были заключёнными, а железнодорожный полустанок, где они проживали, когда-то был лагерем, и в разговорах население посёлка постоянно пользовалось этими словами. Поэтому Колька и знал, что за чай и водку можно выменять не только овёс, но и новые телогрейки, сапоги, самодельную мебель, подобную той, что стояла в их доме, и очень хорошие ножи, которых у отца было с десяток. За столом говорили о том, что до Нового года должна отелиться Зойка и телёнка надо в такие морозы пристроить в доме, что с отцовской полочки Кольке обязательно надо обновить валенки, старые он перерос, и их будет донашивать младшая сестрёнка. Но Колька, похрустывая драниками, боялся пропустить в разговоре главное: где они будут встречать Новый год, ведь до праздника оставалась всего неделя.

Когда Кольке было пять лет, то конь Степан, запряженный в сани, возил его, отца и маму на несколько часов в соседний посёлок. Дед в новогоднюю ночь слушал радио и присматривал за младшей сестрёнкой. В этом посёлке был лагерь, имелось электричество, магазин, а главное – клуб, куда за прошедший год Колька, Вовка и их родители несколько раз летом пешком ходили на просмотр кинофильмов. Кольке стыдно до сих пор вспоминать, как он опозорился перед своими старшими друзьями, когда мама привела его в этот клуб впервые. Она посадила его рядом с собой в первый ряд, и они смотрели кино про войну, когда солдаты возвращались домой в таких же вагонах, какие Колька видит каждый день, когда встречает «Трудовой». Конфуз случился, когда паровоз с экрана на всех парах вдруг поехал прямо в зал, на Кольку с мамой. Он рванул в сторону к дверям, чтобы не попасть под колёса паровоза. Только когда включили свет, мама ему объяснила, что паровоз на экране ненастоящий, но Колька никак не мог поверить в слова матери.

Вот в этом клубе и собирались жители двух посёлков в новогоднюю ночь после полуночи. Было много наряженных людей, в центре зала стояла ёлка, играл патефон, потом пластинки сменял знакомый Колькиного отца с большим баяном,

а затем на гармошке играл и пел «тато» Вовки-Хохла. Возвращались домой под утро, посадив в сани столько Колькиных друзей, сколько мог потянуть Степан.

Год назад Колька с родителями встречал Новый год на Теряевской заимке, которую так называли по фамилии дяди Вити Теряева, друга военных лет Колькиного отца. Он жил на этой заимке с семьёй и десятком собак лаек. Хозяин заимки и отец вместе были в плену у немцев, вместе отбывали срок после войны. Дядя Витя был без одной руки, но стрелял лучше всех в посёлке, ловко вскидывая ружьё на обрубок левой руки. Заимка находилась всего в двух километрах от посёлка железнодорожников, на берегу речки Поймы, и проехать к ней можно было только на лошади: зимой на санях, летом на телеге. На эту заимку с пятилетнего возраста Колька летом с дружками бегал по лесной тропинке ловить пескарей, окуней и плотву. Хозяин заимки промышляет рыбной ловлей, охотой, сбором ягод, кедровых орехов, держит пчёл. Рыбу, которую он ловит, его жена тетя Рая приносит к поезду продавать, а добытого зверя Колькин отец помогает ему выносить из тайги. Весь железнодорожный полустанок знает, что Теряев добыл уже больше сорока медведей. Конечно, Кольке хочется, чтобы и в этом году на новогодние праздники поехали на Теряевскую заимку, ведь там дядя Витя снова даст ему и Вовке пострелять из мелкокалиберки по банкам, а по дороге они обязательно увидят косачей и тетёрок, которые всегда сидят большими стаями в морозный день на берёзах.

Во дворе послышался лай собаки, прервав Колькины мысли о предстоящем празднике, и в клубах морозного воздуха с шумом из сеней в дом ввалились Хохол и Бычок. «Не могли прийти чуть-чуть попозже», – подумал Колька, досадуя на друзей, что те прервали разговор отца и деда, и он так и не узнал, где же они собираются встречать Новый год. Хохол после своего обычного «здрасте» сделал обиженное лицо и выговорил: «Ты что, Фуражка, ещё не одет, ведь мы договаривались встретиться в десять!» Только сейчас Колька вспомнил, что сегодня они должны вырубить ёлку и принести в школу – эту почётную миссию им поручила Наталья Григорьевна, учитывая, что они с Вовкой самые «серьёзные таёжники» в классе. «Во всём виноват вчерашний заяц, спутавший все мысли», – подумал Колька. Поэтому он умудрился забыть поручение учительницы, хотя она вчера ещё раз напомнила: «Смотрите, не забудьте, охотники!» Пока Колька одевался, Хохол и Бычок доедали драники, запивая парным молоком из кружек, – мама не могла отпустить его друзей, не усадив за стол. У отца несколько топоров, которые хранятся в дровянике, но Кольке он разрешал брать только один, самый маленький и не очень острый. Засунув топорик за ремень, подпоясывающий телогрейку, нахлобучив ношенную старшими братьями шапку и надев вязаные варежки, Колька с дружками вывалился на морозный воздух. На градуснике, прибитом у входной двери, 32 градуса мороза. «Маловато, – подумал Колька, – ведь в школе отменяют учёбу только после «сорока». Лыжи Хохол предложил не брать, он присмотрел хорошую ёлку рядом с тропинкой, где они бегают проверять заячьи петли на большой перемене.

В центре посёлка несколько пацанов, приехавших на зимние каникулы из интерната соседнего посёлка, катались на лыжах и санках. Эти ребята были постарше Кольки и его друзей и приезжали домой к родителям только по выходным и на каникулы. На этой горке в воскресные дни даже в большие морозы собиралась вся детвора и молодёжь посёлка: большинство катались на санках, а те, кто постарше, строили трамплин и устраивали соревнования на дальность прыжков.

Такие соревнования каждую зиму закачивались не только поломанными лыжами, но трамплин действовал постоянно. Колька имел лыжи, которые ему достались от старших братьев, но прыгнуть с трамплина не решался.

Пожалев, что не могут остаться на горке, трое друзей зашагали резво к школе, продолжая делиться последними новостями. Хохол рассказывал, что, когда он проснулся, вчерашний пойманный заяц уже был ободран и висел на морозе в сенах, а его «тато» ограничился фразой: «Этого мать приготовит к следующей бане, ловите ещё, но в школу – не дай бог!» Отец у Вовки был немногословным, а в баню он приглашал Колькину семью каждую субботу, поскольку своей у них не было. К банной субботе на санной повозке обычно приезжал дядя Витя Теряев со своей заимки. Вовка сообщил ещё одну важную новость, услышанную от родителей, – на этой неделе прибудет новый этап. Колька, узнав про этап, даже остановился, а Петька, хитро прищурившись, прошептал: «К Новому году, пацаны, приборажимся».

Такие этапы, из вновь осуждённых, приходили на их полустанок в последнее время всё реже и реже, и в соседнем лагере, куда пешком и под конвоем гнали ээка, ещё одетых в гражданскую одежду, постепенно сокращали рабочую силу. Причина для этих мест была обычной: там, где когда-то на десятки километров стояли вековые сосновые, кедровые и лиственные боры, теперь простиралось бескрайнее море пней. Очередной этап гнали единственной дорогой вдоль двух десятков домов железнодорожного полустанка, в сопровождении двух-трех овчарок и десятка конвоиров. Необычность этих этапов заключалась в том, что одеты все были в гражданскую одежду, шли с узлами и чемоданами, и часто под весёлую мелодию гармошки или гитары одного из тех, кому предстояло пробыть в этих местах от десяти до двадцати пяти лет. Несколько часов, которые уйдут на дорогу от «столыпинского» вагона до лагеря, будут последними, когда они в гражданской одежде ещё похожи на обычных людей, а уже завтра на многие годы их «прикидом» станут не хромовые сапоги, а кирзовые, не пальто из добротного драпа, а обычная телогрейка. Три десятка жителей полустанка, стоявших вдоль дороги, по которой гнали этап, были последней возможностью обменять свои вещи – одежду, золотые кольца, часы, портсигары – на кусок сала, десяток яиц, чай или вязаные носки. Ведь, как пояснял Колькин отец, в ближайшие годы они им не понадобятся.

Конвой, сопровождавший этап, взрослых к заключённым не подпускал, а к детям относился снисходительно: разрешал приближаться к ээкам, бросать кому-то из них огромный кусок сала, получая взамен по воздуху иногда одну вещь, а бывало, и целиком фанерный чемодан. Колька полгода назад за два больших куса сала выменял карманные часы с цепочкой, которые сразу же попросил отдать ему отец, пообещав вместо них купить Кольке на следующее лето велосипед. А мама, уговорив конвоиров, за вязаные шерстяные носки выменяла в тот же раз для старшего брата Сашки пальто, которое почему-то называет «москвичкой». Тогда Хохол за две пачки чая получил портсигар, которым «тато» теперь хвастается перед Колькиным отцом и дядей Витей Теряевым. Многодетная семья Бычка с таких этапов бесплатно одевалась, хотя меняться им было нечем, сами ходили полуголодными. Но сообразительный не по годам Петька приспособился: он бегал вдоль этапа быстрее всех пацанов, надрывая горло: «Помогите бедной многодетной семье, оставшейся после войны без отца-кормильца». Насчёт отца Бычок лукавил, отец у них был, работал в лесу – собирал в деревянные большие

бочки сосновую смолу – живицу. Заключённые бросали Петьке самые ненужные вещи, которых иногда набиралось столько, что Колька помогал ему донести их домой, где его ждали ещё шесть маленьких сестрёнок и братьев. Поэтому, услышав про этап, Бычок и прошептал: «Прибарахлимся, пацаны», а Колька с нескрываемой радостью подумал, что мама его, конечно, простит за сентябрьские петарды, и ботинки к лету он всё-таки получит, если с этого этапа выменяет что-нибудь стоящее.

Петька вырубил ёлку несколькими взмахами топора. Вовка с Колькой так пока не умеют, ведь он постарше их и постоянно колет дрова для своей многочисленной семьи. С чувством превосходства и выполненного долга Петька достал из-под козырька шапки припрятанный окурочек и, копируя взрослых поселковых мужиков, произнёс: «Фуражка, ты помогай Хохлу – он здоровый, пусть тащит впереди, а я пока перекурю». Дело шло к обеду, и надо было спешить, ведь в час дня приходит поезд, прибытие которого пропустить никак нельзя. Поезд носил название «Трудовой», и в его составе, кроме пассажирских вагонов и вагонов для перевозки заключённых, были, на взгляд Кольки, два самых главных: в одном привозили в посёлок посылки и письма, в другом – магазине на колёсах, закупились жители их полустанка и других посёлков, расположенных вдоль железнодорожной ветки.

Когда Колька не ходил в школу, он с друзьями встречал поезд каждый день и зимой, и летом, но сейчас только по выходным. Особенно он любил встречать «Трудовой» осенью, когда многие жители полустанка получали яблоки в деревянных ящичках с дырочками. Большинство из них до войны, плена и лагерей жили на Украине, и оставшиеся там родственники, начиная с августа и до ноябрьских заморозков, постоянно слали подарки. Вовкин отец тоже получал такие ящички, отправляя их назад уже с кедровыми шишками. В посёлке действовало неписаное правило – все, кто получал посылку, раскрывал ящик прямо у вагона поезда и угощал детей. Если всем не хватало по яблоку, то резали пополам, но каждый получал угощение. К яблокам иногда добавлялись конфеты, сушки, пряники, которые Колька никогда не съедал, а приносил домой вначале показать, ведь таких лакомств в их доме никогда не видели. Проверив почтово-багажный вагон, вся детвора спешила к вагону-магазину, где их родители закупали хлеб, красную рыбу, кусковой сахар. В этом же вагоне продавали керосин, спички, хозяйственное мыло, посуду, сапоги. Каждый, кто отоваривался у вагона, для своей небогатой жизни на этом полустанке, обязательно не забывал купить небольшой бумажный кулёк дешёвых конфет или сухих бубликов, которые после отхода состава раздавали детям.

Поэтому Колька с друзьями не могли пропустить прибытие поезда. Перекурив, Петька сам взвалил ёлку на плечи: «Слабаки, отойдите, а то к поезду опоздаем!» Он зашагал так быстро, что Колька и Вовка едва поспевали за ним. В школе кипела работа: отцы заканчивали стеклить разбитые зайцем окна, девчонки нарезали и клеили на только что вставленные стекла снежинки, ребята развешивали бумажные гирлянды, сделанные на уроках труда и раскрашенные акварельными красками. Ёлка подошла по размеру, всем понравилась. Завтра, когда подведут итоги за вторую четверть и уберут парты в коридор, её установят в классе. Нарядать будут всем посёлком, каждый постарается принести из дома несколько самых лучших игрушек.

Приближалось время прибытия «Трудового», и все, кто находился в школе, быстро оделись и поспешили к месту остановки поезда. Вначале за поворотом слышался протяжный гудок, затем в клубах пара показался паровоз, выбрасывая из трубы чёрный дым с раскалёнными искрами. Заскрипели тормозные колодки, и состав, медленно сбавляя скорость, остановился. Из «столыпинского» вывели всего нескольких заключённых, но не тех, которые интересовали Кольку и его друзей. Эти зэки были одеты не в гражданскую одежду и даже не в обычные лагерные серые телогрейки, а в полосатую спецовку. Таких Колькин отец называл «полосатиками», и все пацаны в посёлке знали, что они самые опасные заключённые, поэтому к вагону не подходили. Колька метнулся к почтово-багажному вагону, где лесник Мосальский получал большую посылку. Он с семьёй жил рядом с Теряевской заимкой, был заядлым рыбаком, и из его бандеролей, которые он регулярно получал, пацанам часто перепало по одному – два крючка и несколько метров лески. На этот раз он посылку распечатывать не стал, а отправил их к следующему вагону: «Поторопитесь к магазину, там конфет перепадёт».

Когда поезд, просигналив, тронулся, Колька насчитал в карманах своей телогрейки с десяток дешёвых конфет и три баранки – значит, день заканчивался удачно и к поезду они спешили не зря. Проводив «Трудовой» и пиная по дороге лошадиные замёрзшие «глызки» подшитыми старыми валенками, он зашагал вместе с родителями по накатанной зимней дороге в протопленный дом, где его ждали дед Григорий и младшая сестрёнка, а также вкусные мамины сушки и книжка про необитаемый остров. На душе было радостно, как бывает только в беззаботные детские годы.

Мороз на улице крепчал, солнце начинало цепляться за макушки могучих лиственниц – короткий зимний день заканчивался. Колька поделился конфетами и баранками с сестрёнкой и дедом, поел, залез на свою кровать у тёплой печки и вновь погрузился в чтение. Отец включил радио и внимательно прислушивался к последним новостям, которые происходили в стране в конце 1959 года. Но Кольку они совсем не интересовали – все его мысли были в завтрашнем предновогоднем дне, который начнётся, когда он, проснувшись, встретится глазами с иконой, занимающей вместе с солдатским ремнём самое почётное место в доме.

* * *

Как и пятьдесят пять лет назад, на отрывном календаре, который прибит над кухонным столом моей белорусской дачи, – декабрь. Также в печке потрескивают дрова и за окном начал пробиваться короткий зимний день. Правда, на этом сходство и заканчивается – стёкла окон не разрисованы, как в 1959 году, сибирским морозом – на градуснике плюсовая температура, в доме не пахнет дедовским табаком-самосадом и отцовским «Прибоем», отсутствует запах браги и парного молока. Давно нет в живых деда Григория, родителей и старших братьев, на железнодорожном полустанке уже не останавливается поезд, а место, где стоял родительский дом, заросло полувековым лесом. Вчера закончил рассказ о своем босоногом детстве, где все события про Кольку-Фуражку невымышленные и даже фамилии не изменены, но сегодня решил, что история про полустанок будет незаконченной, если не рассказать о дальнейшей судьбе моих героев.

Вовка-Хохол (Сахно) после окончания школы всю свою трудовую жизнь проработал на железной дороге, в последние годы машинистом тепловоза на же-

лезнодорожной ветке Решёты-Богучаны. Проживал на таком же полустанке, как и наши родители, только назывался он станцией Плашечная. Жив ли он сейчас, сказать не могу, так как на родине не был почти десять лет.

Петька-Бычок (Подрезов) свою непродолжительную жизнь провёл в местных тюрьмах. Когда я приезжал на похороны отца и старшего брата с Колымы в конце семидесятых, то у него была уже третья ходка за воровство. А когда приехал на родину через десять лет, то узнал от одноклассников, что он был застрелен несколько лет назад при очередном побеге.

Тато Вовки-Хохла после выхода на пенсию вместе с женой тётёй Валею вернулись на Украину. Пока были живы мои родители, они вели переписку и изредка получали посылки с украинскими яблоками.

Дядя Витя Теряев, хозяин заимки, трагически погиб в конце шестидесятых. Когда случился пожар в его доме, он бросился спасать оружие и провалился в подполье, сгорев заживо. На заимке ещё какое-то время хозяйничал сын дяди Вити с матерью, но со временем выехали и они.

Колька-Фуражка после окончания Красноярского института два десятка лет добывал золото на Колыме и в Забайкалье. Попав под жернова перестройки, после развала страны перебрался в Западную Белоруссию в провинциальный городок. Купил хутор на реке Припять, которая как две капли воды похожа на его родную Пойму. Как и в детские годы, он не может жить без рыбалки и охоты, и собак лаек у него две. Каждый год мечтает приобрести коня, которого обязательно назовёт Степаном.

Пинск. 6 декабря 2013 г.



К 100-летию начала Первой мировой войны

Генрих ЛЕРШ
(1889–1936)

«ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА...»

2 августа 1914 года, на следующий день после начала Первой мировой войны, в немецких газетах было опубликовано стихотворение «Прощание солдата», написанное самодеятельным поэтом, потомственным кузнецом Генрихом Лершем. Как казалось тогда многим немцам, в нем звучал справедливый призыв к объединению германского народа перед лицом коварного врага. Одна строка этого произведения сразу стала крылатой: «Пускай мы погибнем, но будет Германия жить!»

Осенью 1914 года Генрих Лерш ушел добровольцем на Западный фронт. Суровая реальность войны быстро охладила его патриотический пыл. В окопах он написал ряд антивоенных стихотворений, среди которых выделялась баллада «Братья», пронизанная гуманистическими мотивами. Вскоре поэт был тяжело ранен. Демобилизовавшись из армии, всецело отдался творчеству. В своих стихах Лерш воспевал труд свободного ремесленника, отстаивая традиционные ценности и подражая любимым средневековым поэтам – мастерзингерам.

Однако стихотворение «Прощание солдата», получившее небывалую известность, продолжало жить своей жизнью. Вплоть до 1945 года оно неоднократно использовалось германской милитаристской пропагандой, создававшей культ мужества и героической самоотверженности. Ведь крылатая строка поэта отразила характерный для немецкого менталитета танатологический принцип «верности до конца». И сам творец ничего с этим уже поделать не мог.

ПРОЩАНИЕ СОЛДАТА

Прости меня, мама, в поход отпусти.
И слезы не следует лить в укоризну:
Мы нынче сражаться идем за Отчизну.
Прости меня, мама, в поход отпусти.
Позволь напоследок главу пред тобою склонить:
Пускай мы погибнем, но будет Германия жить!

Мы нынче сильны и свободны, отец,
И в сердце огонь разгорается жизни.
Покорны рабы, не имея Отчизны,
А мы и сильны, и свободны, отец.

Ты сам научил меня пули свинцовые лить:
Пускай мы погибнем, но будет Германия жить!

Послушай, жена: призывает нас Бог.
Он создал Отечество, полное блага.
В руках Его блещет любовь и отвага.
Послушай, жена: призывает нас Бог.
Всевышнюю благость мы смертью должны искупить:
Пускай мы погибнем, но будет Германия жить!

Утешься, любовь, не горюй и не плачь:
Твоим женихом, я замечу, однако,
Вовеки не станет трусливый служака.
Утешься, любовь, не горюй и не плачь.
Хочу на прощанье тебе поцелуй подарить:
Пускай мы погибнем, но будет Германия жить!

Прощайте, живые, живите за нас.
Когда же падем мы под градом свинцовым,
То нашим последним окажется словом:
Прощайте, живые, живите за нас.
Воистину – немец не может иначе служить:
Пускай мы погибнем, но будет Германия жить!

БРАТЪЯ

Пред нашим бруствером чужой мертвец лежал:
Его то солнце жгло, то ветер охлаждал.

Я смертный лик его разглядывал стократ,
И мне все чудилось, что там лежит мой брат.

И мне все слышалось, что над передовой
Звучит его веселый голос как живой.

И ночью плач его тревожил невпопад:
«Неужто ты меня не любишь больше, брат?»

И вот однажды, несмотря на бой ночной,
Я мертвого врага предал земле сырой.

Не обманули очи сердца моего:
Любой мертвец похож на брата твоего.

ОСЕНЬ

Садовник, пусть павшие листья
На солнце подремлют чуть-чуть.
Они так устали кружиться,
Они так хотят отдохнуть.

Пусть медь их украсит и золото,
Пусть иней блеснет на краях.
О мертвые горлицы сада
На темно-багровых песках!

Садовник, они подчиняться
Твоей не желают метле.
Не стоит к зиме так стараться
Прокладывать путь на земле.

Предисловие и пер. с нем. Е. Лукина

• **Евгений Лукин** – петербургский поэт, прозаик, эссеист, переводчик. Член Союза писателей России.

Эварист
ПАРНИ
(1753–1814)

СТИХИ

У Эвариста Парни, одного из любимых поэтов молодого Пушкина, в России устойчивая слава мастера «лёгкой поэзии». Такого же рода известностью, порождённой успехом сборника любовных элегий 1778 г. «Эротические стихотворения», пользовался Парни и у себя на родине. Между тем в плане эволюции французской поэзии XVIII века в сторону «нового лиризма», то есть не жанрово заданного, «ролевого», а индивидуального, проявляемого как эмоциональный отклик на конкретную ситуацию, Парни – наряду с А. Шенье – сыграл важнейшую роль. В стихотворении «На смерть девушки» (1784) поэт избежал характерного для таких тем впадения в погребальную патетику с сопутствующими ей размышлениями о человеческой участи, о безжалостности смерти и прочими традиционными содержательными атрибутами. Как пишет один из критиков той эпохи, «похоронная речь, произнесённая в храме, среди торжественных атрибутов религии и смерти, действительно волнует душу и настраивает её на возвышенный лад», но в иной ситуации, когда ничто не располагает душу к принятию таких впечатлений, стремление компенсировать отсутствующие обстоятельства толкает автора к «впадению в аффектацию» (*Tableau de la littérature française pendant le dix-huitième siècle*. – P.: Colburn, 1813. P. 152). Поэт, с одной стороны, избегает конкретики (имя умершей не названо), что позволяет ему представить ситуацию как типовую и уйти от частностей, связанных с персональной жизнью героини, а с другой – создаёт произведение, обращённое к любому читателю, а не к адресной группе (родственники, друзья, заказчик текста). Вместо траурного панегирика возникает грустный камерный отклик на печальное событие.

НА СМЕРТЬ ДЕВУШКИ

Ребёнок наполовину,
Со смехом своим невинным,
С чертами любви самой...
Ещё месяцы, может – дни,
И в душе её чистой, прямой,
Загорелись бы чувства огни.
Но небо прелести эти
Обрекло не цвести на свете.
Приговор исполнить спеша,
Отлетела тихо душа.
(Такие на небо не ропщут.)
Отлетела – улыбкой от уст,
Цветом, покинувшим куст,
Песенкой птичьей – от рощи...

Предисловие и пер. с фр. В. Пинковского

Теодор
де БАНВИЛЬ
(1823–1891)

СТИХИ

Академик М. Л. Гаспаров называет в своей работе двадцатилетней давности Ш. Леконта де Лиля и Т. де Банвиля «самыми видными "парнасскими" именами», добавляя, что «Банвиль не дошёл до русских писателей и читателей и по сей день» (*Гаспаров М. Л. Антиномичность поэтики русского модернизма // М. Л. Гаспаров. Избранные статьи. М.: НЛО, 1995. С. 287*). «Не дошёл» следует, видимо, понимать двояко: недостаточно переведён и – плохо понят, недооценен. В отечественной «Истории всемирной литературы» (т. 7) Теодору де Банвилю уделена одна (!) строка, для широкого читателя поэтическая репутация выдающегося «парнасца» основывается едва ли не на единственном стихотворении – «Прыжок с трамплина», удачно переведённом А. Арго. Предлагаемые переводы – посильный вклад в корпус интерпретаций поэзии де Банвиля на русском языке.

ЛИЛИИ

Я цветения дивного лилий
Краткий срок возношу без конца.
От мучений уставшим сердцам
Он целенье несёт без усилий.
Опьяняйте, цветы и простор, возвращайте нам крылья!

Торжествует чудесный восход,
И лазурный румянится свод,
Майский цвет прячет камни могил,
Воздух ясный трепещет. И вот –
Вспенен добела взмахами крыл!

ТА, ЧТО ОСТАЛАСЬ

Вперёд, на представленье драм!
Их долго незачем искать:
Шальной омнибус сбил двух дам,
Как оказалось, дочь и мать.

Смотрите: девушке не встать.
Толпа окружем любопытным
Глядит на сгубленную статью,
На кровью тонкий лик залитый,

Шумит, советует не впрок,
И сетует, и вздохи множит...

На алый сломленный цветок
Лежащая в пыли похожа.

Дитя чтобы с пелён поднять,
Работая, недоедая,
Жила как в лихорадке мать,
Себя надеждою питая:

«Послушной, милой, ей не век
Ютиться с матерью в лачуге.
Рабочий честный человек
Её возьмет себе в супруги».

Иллюзий сладостных тщета!
Омнибус на боку, а рядом –
Сама надежда и мечта
С неотзывающимся взглядом.

В нём – не могу точней назвать –
Живым неведомые дали
Чернеют... «Хорошо хоть мать
Лишь ранена», – в толпе шептали.

Предисловие и пер. с фр. В. Пинковского



Павел
ТОЛСТОГУЗОВ

ЧЕРНОГОРСКИЙ ДНЕВНИК

Мне почти нечего сказать об этой стране, кроме необязательных «между тем» и «тем не менее». Внутренний путеводитель, отвлекаясь на разные пустяки, привёл меня сюда за призраком, чьё и без того прозрачное тело почти полностью растворилось в туристической духоте Будвы. В непрошеной лазури этого побережья растворились очертания косога латинского паруса, римско-византийская Доклея, лёгкий, всклокоченный профиль неряшливого старца-дипломата, знавшего толк в священных призраках и, в отличие от меня, никогда, кажется, не терявшего из вида их очертаний.

Театр побережья, заключающий в свой полукруг из тёмно-зеленых, краснозёмных и сероватых хребтов синеву бухты, светлые дома, покрытые красной черепицей, остров св. Николая, в первые часы властно овладевает воображением, но затем воображение, покинув нагретую до ожога каменную скамью в первом ряду, выпив добрых поллитра «Враница» и съев жестковатый стейк, разваливается на диванчике в зарешеченной сумеречной себе и впадает в дремоту, ненамеренно уподобляясь тем могучим черногорцам разного возраста, что неспешно бродят от кафе к кафе и обмениваются громкими репликами, состоящими из неперменных «чао», «йо» и «овай».

Тем не менее воздух чист, как питьевая вода из бутылки, время от времени откуда-то раздаётся колокольный звон, и горы по-прежнему окаймляют драгоценное побережье. На отменно узких, почти лишённых тротуаров улицах, спускающихся к Славянской плазе, автомобили так и норовят наехать на твои ступни, но не наезжают и как-то умудряются образовать почти бесконфликтное сообщество с пешеходами и кошками. Редкие полицейские свистят в свой свисток с сердитым видом, который в следующий момент сменяется дружеской улыбкой. В экскурсионном оповещении на русском языке вам обещают, как некое ярмарочное чудо, «говорящего гида». Встречающиеся время от времени рекламные щиты с надписью «Всё по (sve po, tutto per, all for) 1 €» повергают носителя русского языка после короткого покупательского ажиотажа в философское настроение:

• **Павел Толстогузов** – литературовед, доктор филологических наук, профессор, специалист по русской классической литературе. Работает в Приамурском государственном университете имени Шолом-Алейхема. Живет в Биробиджане.

всё по... В этом (овом) настроении нет ничего особенного. Просто всё по. (На деле это лишь кажется: таким светлым образом выражает себя здесь озабоченность насущным. С точки зрения представителя сумрачных цивилизаций так жить нельзя, но так здесь живут. Даже поспешая, истинный черногорец никуда на самом деле не спешит, исполняя тем самым вряд ли известный ему завет достославного Фабия.)

Старый город Будвы, как и все города-памятники, вечно наполнен праздно толпой и никому, в сущности, не нужен. Молчит обрушенная в море наскальная крепостная стена, молчит впаиванный в постамент великий колокол с крестом и молчит полурастворённый призрак былого, а здравый смысл между тем разговаривался вовсю. Как на этих улицах-щелях могли разъехаться повозки? Нет, даже так: как они вообще могли здесь проезжать? Еще менее ясно, как по этой (овой) жаре в этих горах и ущельях совершали свои беспримерные рутинные переходы легионеры, войска дюков и крестоносные сборища. Но, несмотря на вопросы, ты знаешь, что жизнь здесь была, и был косой парус, и призрак былого в конце концов встаёт над водами Адриатики в полный рост. Об этом свидетельствуют светло-серые и розоватые камни церквей, высокие погребальные свечи кипарисов, тяжелый, темный сапфир моря и, наконец, необоримая беспредметная тоска посреди поверхностной жизни покупателей отдыха. На колокольне св. Ивана раздаётся однообразный звон колоколов, соединенных «прялкой», и вдруг ты понимаешь, что под софийным куполом неба они прядут тонкую, рвущуюся под руками тишину. Не ту, которую ищут туристы, отыскивая для проживания «тихое место в 10 минутах ходьбы до пляжа», а ту, в которой, как в родимой купели, совершается погружение в единство времён и дел (а, собственно, что ты имеешь против туристов и отдыхающих? в сущности, они являют собой отдалённых наследников той смешанной средиземноморской толпы, которая наполняла кровеносную систему великого византийско-венецианского голема, раскинувшего смугловатое тело от Апеннин до Боспора и отдалённой Таматархи – древнерусской Тмутаракани; два этих животворных соперничающих начала, византийское и венецианское, до сих пор незримо управляют прибрежной жизнью ветхой Далмации, восстанавливая души от разрушений, причиненных давними и недавними обидами, преображая неутолимую историческую скорбь в хрупкий, как венецианское стекло, праздник).

В початке была речь, сообщает вам сербское писание: «Свето Писмо». Нужна отдельная речь о разговорной речи черногорской улицы: бурные итальянские интонации скрывают своим переменчивым налётом прочную старославянскую основу языка; возникает впечатление отчетливо дружественного языка и чужой интонации. Языковой шум на улице, скороговорка обывателей, состоящая из невозможных сочетаний согласных, устраняют возможность понимания, и только вывески дают какой-никакой ключ. Тем не менее язык доводит вас до св. Стефана, Герцег-Нови, Дубровника и других мест, составляющих истёртые от частых прикосновений чётки далматинского берега. Вы идёте в Бока-Которский залив на судне «Vesnav» сначала в неомраченной лазури, затем в ветре и морском волнении второй половины дня, и в той стороне, где лежит невидимая Апулия, уносятся ветром в ядранскую даль нестойкие ястребиные профили диктаторов и поэтов. Хватает беглого взгляда на вечную молодость моря, чтобы узнать: да, это те самые иллирийские волны, *undae illyricae*, скрывшие когда-то под собой от натиска бурного ноябрьского Нота и приобщившие к компании печальных теней

«измерителя несчётных песков» Архита (Hor. Carmina I 28). В Герцег-Нови в небольшой церкви архангела Михаила (о которой «говорящие гиды» с привычным самодовольством сообщают, что ее архитектура сочетает признаки романского, готического и византийского стилей) в лампадной темноте тебе поклонится старик-смотритель, и ты отдашь ему поклон, и так совершится главное тайное событие этого дня.

Долгое сожительство побережья и городов привело к смешению признаков: города вросли в побережье, а побережье обросло городами. С первого взгляда видно, что ветхая геология прибрежных мысов-уступов (с рассевшимися вдоль и поперёк скальными стенами) является дикой родственницей крепостных стен с их разноречивой кладкой. Здесь стены восполняют провалы скал, а скалы нечувствительно переходят в стены. Более метафоричны отношения городов и моря. Как в пористом теле морского камня остаются отпечатки мягкой жизни, когда-то навсегда прожившей свой кратчайший бессознательный век, так в старый камень церквей, домов и стен далматинских городов-коммун впечаталась жизнь поколений, упорствующих в желании быть. Яркость и безутешность прошедшей однодневной жизни, её принципиальная *vanitas* чувствуются до сих пор. Среди этих ветхих камней, в соседстве бельевых верёвок, бутиков и ресторанов, знаков забытых владельцев над дверями («Р.В. 1863») понимаешь, что величественная иллюзия истории состоит из однообразных и вместе неповторимых историй людей и семей. Из таких историй, как из равенской мозаики, складывалась картина, в сюжете которой соединились христианский подвиг и отступничество, торговля и пиратство, рыбалка и ручное ремесло, пастушество и возделывание земли, книжность и обман.

Поездка в знаменитый Дубровник уточняет эти впечатления. Город, замкнутый в тяжёлое ожерелье двойных стен, Дубровник не знал турецких ужасов (наверное, руководившие хозяйственной жизнью города венецианцы каким-то образом договорились с корыстолюбивым султаном). Его исторические воспоминания содержат несколько ключевых видений: легендарные иллирийцы, греки эллинистической эпохи, римляне, лангобарды, авары, славяне, византийцы, франки, венецианцы, французы, австрийцы сменяли друг друга, как не повторяющие друг друга мотивы на капителях Княжьего двора. По преданию, город был основан беженцами из классического Эпидавра, стёртого с профиля побережья аваро-славянским натиском. Где-то здесь, за безлесыми и лесистыми склонами, скрылись паганы-аренданы, ушедшие от ромеев в «непроходимые обрывистые места» (об этом пишет Константин Багрянородный), чтобы сохранить простую веру, принесённую из священных северных дубрав (так позже будут уходить в скалы православные монахи от турков), а по реке Неретва жили пираты-неретвляне, с которыми не могли справиться ни византийцы, ни венецианцы.

Севернее Дубровника находится Сплит-Аспалаф, последнее убежище мучителя Диоклециана, ушедшего с головой в любительское растениеводство. Мрачное дело высокомерного агронома продолжили турки, воспитавшие народ, спасающий себя в скалах. Памятником этого беспримерного спасения стал белый монастырь, вознёсшийся, как Ветилуя, «в недостижимой вышине», в дарохранительнице глубокой скальной выемки. Нигде камень веры не являет себя с такой ощутимой предметностью, как здесь, в Остроге. Страна, где турецкая эпоха сделала мучеником целый народ (как им стал особо чтимый пастушонок Станко, случайная жертва янычарского разъезда), собрала себя в ту степень крепости,

которая отличает прибрежный кремень, да и вся страна похожа на маленький кремешек побережья. На пути к монастырю меж деревьев лежат огромные светлые валуны, покрытые трещинами и мхом. Они поют безмолвную молитвенную песню Тому, Кто воздвигает Словом скалы и укрепляет дух крепче скал. Паломники поднимаются босиком по трудной лестнице ввысь, по острым камешкам осыпи, но что эта терапевтическая боль перед тем горном страдания, в котором выплавляется до звенящей чистоты духовная сталь.

Накануне отъезда одолевают обычные мысли: кажется, только что приехали, а послезавтра уже нужно ехать в Тиват, в аэропорт. Что такое «вчера», если подумаешь о нём? Пролетели, как ласточки над островом св. Николы, блаженные дни, и вот через два дня ты уезжаешь: ау, черные горы... Прошлого в твоей власти и оно вне её, потому что оно уже было, а ты ещё есть (и продолжаешь, как прозрачный паучок, тянуть эту будто бы бесконечную паутину, которая всё же рано или поздно кончится вместе с тобой, и остаток праздных нитей будет ещё некоторое время дрожать на ветру). Только и осталось, что произнести про себя нелicenseмерную хвалу будванской ривьере и отправиться восвояси.

Раннее утро следующего за отъездом дня застаёт тебя в вагоне поезда «Москва – Нальчик» где-то между Лисками и Россосью. Уже настал час распахнутых во все стороны ярких полей южной Руси, величественных оврагов и увалов, пирамидальных тополей, тихих рек, затененных кустами, белых домов с синими ставнями и геранью на подоконнике. Неостановимый ход поезда привычно, как ткацкий челнок, создаёт движущийся образ великой земли. Назавтра, ещё более ранним утром, миновав каменистые русла горных рек, поезд прибывает в Нальчик. Добравшись до дома, ты выходишь под козырёк подъезда покурить и зачем-то представляешь себе, что где-то здесь, совсем рядом, под высокой берёзой, догнивают окурки шурина, погибшего три года назад в дни ваххабитского налёта на город: от безнадёжного алкоголизма, в беспомытном одиночестве. Через несколько дней начинается осетинская война, и память о Будве отступает перед напряжённостью телевизионной картинке, перед случайным впечатлением от детей-беженцев (на площади Абхазии, у автобусов, с рюкзаками и сумками).

Но проходит и это. Вновь поезд, вновь Москва, и ты с младшим сыном заходишь в Кремль. В Архангельском соборе певцы на итальянский манер поют «Жертву вечернюю» (после исполнения хлопотливо совершая среди слушателей сбор своих вполне мирных дневных жертв), а ты, проходя меж тёмными надгробиями, у стены натыкаешься на раку мученика Михаила Черниговского, и тогда видение поручика Берга и его легендарного предка вновь встаёт перед глазами, и призраки Доклеи уже лишь мерцают за ними. Так заканчивается этот неполный дневник.

Впрочем, его настоящее окончание происходит ещё позже, далеко от Будвы и Кавказа и от Москвы, в октябре, в Биробиджане, когда наступает еврейская грусть последнего листопада и цыганская тоска серых дней, пропахших гарью лесных пожаров, и радость первой отчётливой изморози и первого снега ещё впереди.

«Цикл» являлся для Шаламова возможностью показать эпохальный характер истории ГУЛАГа через призму собственной судьбы, собрать «мозаику» ощущений, событий и «превратить себя в лабораторию наблюдения над человечеством».

Ю. Лотман

Я состою из осколков, на которые раздробила меня лагерная республика.

В. Т. Шаламов

Искусство существует для того, чтобы мы не погибли от истины.

Ф. Ницше

В современном шаламоведении а priori принимается тот факт, что «Колымские рассказы» являлись для их создателя способом «сохранить живую душу»¹. Однако зачастую эта жизнесозидающая цель наполняется только эмоционально-биографическим смыслом. В действительности, и выбор Шаламовым «новеллы» как жанра, так как «новелла избирает аномальный фрагмент бытия и на его основе создает общую схему состояния мира и человека»², и цикла как способа выстраивания, складывания «осколков», – все это сознательный художественный выбор писателя. Это, говоря словами Хайдеггера, наиболее оптимальный творческий инструмент для «выхода... из несуществования к присутствию»³: присутствию как возвращению автора – «участника драмы жизни» – в уже художественный мир, созданный в процессе анамнесиса, и – как сопresentствию читателя.

Мы обратимся к двум циклам – «Колымские рассказы» и «Артист лопаты» – и попытаемся показать, что художественная логика Шаламова складывается из целого ряда «неслучайностей»: от неслучайного выбора названия цикла, расположения новелл – до неслучайного характера мотивных мостов, эмоционально-смысловых интенций, вносящих различия в содержательное наполнение каждого цикла в целом.

¹ Данное определение принадлежит В. Шаламову и Н. И. Гаген-Торн: *Шаламов В. Т.* Несколько моих жизней. – М., 1996. – С. 430; *Гаген-Торн Н. И.* Memoria. – М., 1994. – С. 215.

² *Дзенс И. О.* Новеллистика Ф. Кафки (к проблеме типологии жанра) : автореф. дис. ... к. ф. н. – М., 1998. – С. 12.

³ Цит. по: *Канныкин С. В.* Текст как явление культуры (пролегомены к философии текста). – Воронеж : РНЦ ЕФ ВГУ, 2003. – С. 62.

• **Антон Антипов** родился в 1980 г. в Магадане. В 2002 г. окончил филфак Северо-Восточного государственного университета. Работает доцентом Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики. Автор более 20 работ, посвященных литературоведческим проблемам. Живет в Санкт-Петербурге.

Согласно энциклопедическому и словарному определениям, «литературный (уточним – прозаический) цикл» – это «группа произведений, сознательно объединенных автором по жанровому, тематическому, идейному принципу или общностью персонажей»⁴, «рассказчиком, исторической эпохой»⁵. В понимании Л. Ляпиной «цикл – тип эстетического целого, представляющего собой ряд самостоятельных произведений, принадлежащих одному виду искусства, созданных одним автором и скомпонованных им в определенную последовательность»⁶. «К более активным циклообразующим факторам» Н. Старыгина относит «единство проблематики, общность сюжетных конфликтов и коллизий, образно-стилистического решения, единый образ автора»⁷.

Отличительной чертой первого цикла «Колымские рассказы» является его вводный характер. В цикле формируется парадигма лагерного существования: фокус изображения направлен не в психологическую глубину, а вширь – на воссоздание панорамы ГУЛАГа в его «материальности» и специфику жизни в условиях этой материальности человека. Не случаен и общий характер названия цикла, являющегося единым для всей «колымской» прозы.

Закономерно, что в первом цикле мы видим, но практически не слышим голоса автобиографического героя. Герой здесь – вынужденный наблюдатель либо немой экскурсовод по зданию «Архипелага», центрифуга которого забрасывает его на различные ярусы.

Панорамность цикла ярко отражается в его художественной архитектонике.

«Колымские рассказы» открываются новеллой «По снегу» (1956). Е. Волкова, первоначально называя «По снегу» «крохотной новеллой», считает это произведение «скорее стихотворением в прозе»⁸. Как и в большинстве шаламовских новелл, «стихотворность» находится здесь в диалектическом взаимодействии с очерковостью, а диалектичность обусловлена новеллистической структурой. Если расширить дефиницию В. Кожинова, то данное произведение можно назвать новеллистическим «этюдом с натуры»⁹. Более того, при внешней миниатюрности новелла «По снегу» – глубоко философское произведение, имеющее концептуальное значение для «Колымских рассказов» в общем и для структурной организации цикла произведений в частности.

«По снегу» – первый кадр «колымской» реальности и в географическом, и в сюжетном, и в психологическом, и в философском смыслах: автор вводит читателя в будущий «лагерный» мир вместе с его героями, которые прокладывают снежную целину: «Человек сам намечает себе ориентиры в бескрайности снежной... ведет свое тело по снегу так, как рулевой ведет лодку по реке с мыса на мыс... Из идущих по следу каждый, даже самый маленький, самый слабый, должен ступить на кусочек снежной целины, а не в чужой след. А на тракторах и лошадях ездят не писатели, а читатели»¹⁰.

⁴ Сапогов В. А. Цикл // Краткая лит. энциклопедия. – М., 1975. – Т. 8. – Стлб. 398–399.

⁵ Головченко А. Цикл // Словарь литературовед. терминов / ред.-сост. Л. И. Тимофеев, С. В. Тураев. – М., 1974. – С. 456.

⁶ Цит по: Кутлемина И. В. Поэтика малой прозы Л. С. Петрушевской : автореф. дис. ... к.ф.н. – Северодвинск, 2002.

⁷ Старыгина Н. Н. Циклизация в русской литературе XIX в. и творчество Н. С. Лескова // Модификации художественных форм в историко-литературном процессе : сб. науч. тр. – Свердловск, 1988. – С. 61.

⁸ Волкова Е. В. Трагический парадокс Варлама Шаламова. – М., 1998. – С. 138.

⁹ Кожин В. В. Статьи о современной литературе. – М., 1990. – С. 19.

¹⁰ Шаламов В. Т. Сочинения : в 2 т. – Екатеринбург, 2004. – Т. 1. – С. 29. Далее ссылки на произведения Шаламова даются по этому изданию с указанием тома и страницы в тексте работы.

Как можно сформулировать те смысловые импульсы, которые вытекают из «По снегу»? Во-первых, это относящийся к «колымской» прозе в целом императив о бытийственной внеположенности читателя по отношению к писателю: «Собственная кровь, собственная судьба – вот требование сегодняшней литературы... Писатель – не зритель, а участник драмы жизни»¹¹. Применительно к художественному полотну произведения добавим: писатель – один из тех, кто протаптыкает снежную целину, показывая дорогу в неизведанный мир, дорогу, по которой впоследствии «едет» созерцающий читатель.

Второй импульс направлен непосредственно вглубь цикла: мы видим, как новеллистическая структура сводит внешне «пейзажную» иллюстрацию к параллели «человек (человек-писатель) – лагерная Система», где Система – первичное для него инобытие: в мифологизованно-абсурдном лагерном мире первобытия (символ которого – снежная целина) человек тотально одинок, он может спрятаться за чужой спиной только временно, так как рано или поздно наступит период длительной борьбы в одиночестве. Поэтому утверждение того, что выживание на этом краю земли – дело сугубо личное, развертывается в произведениях цикла как дискретные эпизоды экзистенции человека на этапах целины ГУЛАГа с различными исходами.

Причиной отрицательного исхода может быть невыносимость физических условий на «целине», нарушение ее законов и морально-психологическая подавленность ее атмосферой. Поэтому каждая новелла в той или иной степени варьирует эту «тему жизни в соседстве со смертью» (I, 29), показывает законы такой жизни. Напарник автобиографического героя Гаркунов в «На предвку» становится жертвой внутрелагерных законов «выгнутого зеркала подземного мира» – блатных; в наиболее знаковой для развития центростремительного образа снежной целины новелле «Одинокый замер» Дугаев оказывается физически неспособным пройти одиночный участок и приговаривается Системой к смерти; психически и мировоззренчески «ломается» инженер Розовский в «Дожде»; платит жизнью за нарушения территориальных, «целинных» законов пенитенциарного мира Рыбаков в «Ягодах»; дорога одиночного физического выживания убивает поэта в «Шерри-Бренди»; вольнонаемный Серафим гибнет в колымском мире, не выдерживая безысходного одиночества. Системными методами укрощают Мерзлякова в «Шоковой терапии», заставляя идти по нужному пути.

Новеллы с положительным исходом следует понимать не только в общегуманистическом, но и в локальном, «лагерном» смысле. Так, утверждение непреходящей силы духовной правды в новелле «Тетя Поля», силы человеческого взаимопонимания в «Плотниках» находится в цикле в одном смысловом узле с новеллами, где положительный исход обусловлен случайным стечением «колымских» закономерностей, как в новелле «Заговор юристов», «Хлеб»; «лагерной интуицией» – в новелле «Сгущенное молоко» и, более того, с новеллами, где положительный исход аномален в общечеловеческом видении: удачное приобретение белья покойников в новелле «Ночью». Согласно указанию автора «Колымских рассказов» на закон «смещенных масштабов», и булка хлеба, и банка сгущенки, и белье мертвеца – с одним положительным, причем не парадоксальным знаком, обусловливаемым здесь единым именно эмпирическим, то есть физиологическим полем выживания в колымском мире.

Мы не случайно указали на то, что оппозиция новелл в цикле имеет внешний характер. Это определяется внутренней условностью положительного либо от-

¹¹ Шаламов В. Т. Несколько моих жизней. – М., 1996. – С. 426–429.

рицательного исхода каждой новеллы: на месте погибшего Гаркунова, Дугаева, Рыбакова завтра же может оказаться автобиографический герой, а внезапное освобождение в «Заговоре юристов» завтра может смениться внезапным арестом. Вероятность получить «одиночный замер» на лагерной «целине» очень велика – данная идея, на наш взгляд, пронизывает весь цикл.

Наконец, новелла «Тифозный карантин» стягивает все «мотивные мостики» цикла в единый смысловой мост и утверждает и окончательно разрешает центральный вопрос цикла, выполняя по отношению к нему функцию регрессивного финала, являясь задержанной метафорой. Мы понимаем, что положительный либо отрицательный исход одиночных встреч человека в «лагерном» мире не зависит от человека. Этот исход тотально незакономерен и случаен в силу специфики той реальности, в которой человек функционирует: реальности всегда первичной, без человеческих следов, без формируемой веками логики человеческих связей и, более того, реальности, которая злым гением была трансформирована в искусственную адову систему. Поэтому, процитируем самого писателя, «Тифозный карантин», кончающий описание кругов ада, и машина, выбрасывающая людей на новые страдания, на новый «Этап» (этап!), – рассказ, который не может начинать книги, добавим, – как и не может его завершать новелла «По снегу», поэтически вводящая в «колымскую» прозу в целом.

Если цикл «Колымские рассказы» играл роль формирования панорамы лагерной жизни, то в цикле «Артист лопаты» мы видим уже явное усложнение циклического видения «колымской» реальности, так как в центре «Артиста лопаты» – исторический и духовный путь автобиографической личности. Но несмотря на то, что в «Артисте лопаты», в отличие от «Колымских рассказов», автобиографическое и авторское «я» выражено значительно явственнее, Шаламов не допускает разрушения художественной целостности открытым автобиографизмом и публицистичностью: голос героя, в уста которого всеведущий автор вкладывает обобщения этико-психологического, философского характера, является органическим составляющим художественного «кадра», воспроизводимого в настоящем времени.

Центральная проблема цикла, как и в цикле «Колымские рассказы», формируется в контексте первой новеллы – «Припадок». Название новеллы сразу указывает на пограничную ситуацию, в которую моментально погружает нас первая фраза: «Качнулась стена, и горло мое захлестнуло знакомой сладкой тошнотой» (I, 429). Самоконстатация припадка сменяется описанием картины его следствия – разбитого, но еще не ушедшего мира: «настойчивый голос медсестры», «халаты», «угол дома», «звездное небо»; «возникла огромная серая черепаха, глаза ее блестели равнодушно, кто-то выломал ребро черепахи, и я вполз в какую-то нору... я остался один на один с кем-то огромным, как Гулливер... я изгибался под чудовищным стеклом» (там же). Из этого ряда видений героя указанием на реальные условия происходящего является только фигура медсестры. В конце первого «кадра» это указание подтверждается первым озарением: «И только тогда, когда санитары перенесли меня на больничную койку и наступил блаженный покой одиночества, я понял, что гулливерова лупа не была кошмаром, – это были очки дежурного врача. Это обрадовало меня несказанно» (там же).

Озарение объясняет природу картины «давнопрошедшего»: «Я вытащил бревно на дорогу. Лес закачался перед моими глазами, горло захлестнула сладкая тошнота (здесь еще не «знакомая», что указывает на первичность «лагерного» опыта. – А. А.), и я очнулся в будке лебедчика – тот оттирал мне руки и лицо

колючим снегом» (I, 430). Развязка становится окончательным опровержением реальности возвращения: «но вместо лебедчика руку мою держал врач... И я, поняв, что я не на Севере, обрадовался. «Где я?» – «В институте неврологии». Врач что-то спрашивал. Я отвечал с трудом. Мне хотелось быть одному. Я не боялся воспоминаний» (там же).

Развязка закономерно преобразует все содержание новеллы. Совершенно иное смысловое освещение начинает падать на образы-галлюцинации первого кадра новеллы – «архетипы», если воспользоваться определением К. Г. Юнга. Причем механизм их порождения действительно соответствует определенным положениям психоаналитики Юнга: припадок отключает сознание и активизирует бессознательную область, которая рождает мифологичные и мифологизированные образы «коллективного бессознательного». Особо обращает на себя внимание образ черепахи – наиболее характерный архетипический образ, пробраз восточного мистицизма, где, по мнению Юнга, в наибольшей степени был постигнут «мгновенный медитативный индивидуальный опыт»¹². В восточном мистицизме черепаха – символ первоосновы мира, космического порядка, бессмертия¹³, соответственно, охранительного начала. Несомненно, что залезающий в черепаху герой позволяет предполагать близость новеллистического образа именно к этому архетипическому значению и еще раз убеждает в подлинности имманентного содержания произведения.

Таким образом, «Припадок» разрушает биографическую фабулу, намечая фабулу ретроспективную, которая, как становится ясно, также разрушается именно циклической логикой развертывания содержания «Артиста лопаты».

Большинство произведений цикла закономерно повествуют о противостоянии Системе автобиографического героя, однако от него проводятся параллели к историям других «жителей» лагерного мира. Как и в предыдущем цикле, развитие проблемы носит не однонаправленный, а диалектический характер: т. е. в большинстве случаев каждая последующая новелла, «нанизанная» на единую проблему, временно снимает интенции предшествующей, которые в свою очередь могут получить продолжение далее. Так, новеллистический финал очерка «Надгробное слово» манифестирует идею сопротивления от безысходности, крайности лишений, однако уже в новелле «Почерк» мы видим нарушение законов лагерного механизма его же рычагом – следователем. В «Артисте лопаты» получает развитие тема особой тяжести жизни в ГУЛАГе интеллигенции, подавляемой не только извне, но и изнутри, а в «Инженере Киселеве» приводится пример того, как жизненные закономерности, врывающиеся в системный порядок, могут стать возмездием для ярых сторонников данного подавления.

Сформированная и развивавшаяся в контексте цикла «Артист лопаты» проблема противостояния человека абсурду Системы, артиста – лопате, «снимается» в последней новелле – «Поезд».

«Поезд» основан на принципе экстраполяции: экстраполяции здесь подвергаются атрибуты лагерного мира, а фоном их рассмотрения становится мир вне-лагерный.

¹² Юнг К. Г. Душа и миф: шесть архетипов. – Киев, 1997. – С. 157.

¹³ В индуистской мифологии, «в вишнуистских версиях мифа Вишну в виде черепахи погружается на дно молочного океана, чтобы спасти погибшие во время потопа ценности. Боги... устанавливают на черепахе гору Мандару... начинают пахать океан, из которого добывают напиток бессмертия»: Мифы народов мира : энциклопедия : в 2 т. / под ред. С. А. Токарева. – М.: Большая Рос. энциклопедия, 2003. – Т. 1. – С. 24.

Шаламов выбирает самые характерные, знаковые составляющие ГУЛАГа. На вокзале (как символ переходной реальности) главный герой сталкивается с блатарями. Спасение героя, на первый взгляд, происходит благодаря одному из китов того, арестантского мира – случаю: он узнан и положительно охарактеризован одним из воров в законе. Но «случай» в данной ситуации, несомненно, рожден естественной жизнью: этот мир чужд подземному сознанию блатарей и постепенно становится привычным для воскресающего сознания героя. Поэтому – «тьма расступилась» (I, 696) – благополучная развязка уже мира нормальных случайностей.

Всеобъемлющим символом новеллы является «поезд». Пассажиры вагона, в котором едет герой, как и он, – жители прошлого, устремившиеся в будущее. Социум лагеря представлен здесь во всем разнообразии: блатарь, молодой лейтенант, отец-бытовик и его сын без отказавшейся ехать матери, спекулянт, проститутка, – этот мини-мир, созданный из осколков лагерной цивилизации, экстраполирован здесь в условия мира естественной атмосферы. И результат данного художественного «эксперимента» во многом является парадоксальным: пассажиры вагона, подобно музейным экспонатам, оторванным от истории, утрачивают свою характерность и даже приобретают положительные черты: блатарь (представитель самого ненавистного Шаламову мира) становится спасителем, лейтенант – символ Системы – охарактеризован как «милый», проститутка – явление зловещих «уроков любви» – «грустная», искалеченная жизнью женщина (I, 699–700).

Мы понимаем, что осколки лагерного прошлого показаны глазами человека, который уже не зависит от прошлого, чувствует эту независимость в настоящем и начинает мыслить себя в будущем, т. е. обретает нормальное мировосприятие: «вот это все: ...и спекулянт, и грустная проститутка, и двухлетний грязный ребенок, счастливо кричащий: «Папа! Папа!» – ...запомнилось мне как первое счастье, непрерывное счастье воли» (I, 701). Герой (будущий писатель) уже поклялся, что не позвонит своей «памяти забыть все, что видел» (I, 694) на Колыме, но он счастлив, потому что осознал свою духовную свободу, ощутил в себе внутреннюю силу жизни. К нему возвращается нормальная, не лагерная память, а «почти семнадцатилетнее прошлое» получает осознанную и исчерпывающую характеристику: «Остановился вагон. Родное лицо жены...– так же, как и раньше, когда я возвращался из многочисленных своих поездок... А самое главное – я возвращался не из командировки. Я возвращался из ада» (I, 701).

К какому выводу подводит нас предпринятый анализ? Циклические и новеллистические принципы позволили Шаламову опосредовать колымский и собственно автобиографический материал на сложном художественно-философском уровне. Вопреки заложенному в «материал» требованию подчинения произведений хронологической последовательности, Шаламов циклически разбил историческую и биографическую структурную логику и представил лагерный мир и собственный путь в виде «мозаичной» монтажности, в «кадрах». Это позволило не только существенно расширить читательское представление о биографии одного ээка до представления о трагической эпохальности пережитого последним, но и показать опыт одного человека в контексте опыта человечества.

И преодоление документа как художественный и жизненный принцип Шаламова – это не только спасение себя, но и спасение нас – от истины. Эта истина рукотворных ужасов истории, будучи опосредованной художественным словом, может вызвать у нас в худшем случае печаль, в лучшем – катарсис, но не гибель, к которой приводит непосредственное ее созерцание.

ИЗЯШНАЯ СЛОВЕСНОСТЬ №1 (24) • 2014

Издание некоммерческое

Учредитель *С. А. Склейнис*

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ78-01360 от 27.05.2013 г. выдано Управлением федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу.

Адрес редакции: 191119, Санкт-Петербург, Звенигородская, д. 22, лит. В.

Тел. (812) 404-63-08, +79111905259.

Почтовый адрес: 197372, Санкт-Петербург, ул. Гаккелевская 20, корп. 3-12.

E-mail: skleynis@ou.ru

Оформить подписку и приобрести отдельные номера журнала можно в редакции.

Заказ по электронной почте: E-mail: skleynis@ou.ru

Корректор *С. Вершинина*

Технический редактор *К. Новикова*

Компьютерная верстка *С. Ефимовой*

Фото на обложке *Е. Сапожникова*

Подписано в печать 15.10.2014 г. Гарнитура Букварная. Формат 70×100/16.
Усл-печ. л. 11,2. Уч.-изд. л. 12,1. Печать ризография. Тираж 300. Заказ 271. Цена свободная.

Отпечатано в типографии Санкт-Петербургского политехнического университета:
195251, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29. Тел. (812) 702-77-18.